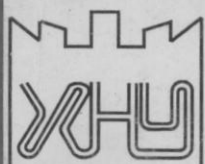


К-14038

ВІСНИКИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ISSN 0453-8048

ПЗ27417



**ХАРКІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ**

473'2000

Харків - 2000

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№473

серія ФІЛОЛОГІЯ

Праці молодих учених філологічного факультету

Заснований у 1965 р.

Харків – 2000

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов та літератур.

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Редакційна колегія: доц., канд. філол. наук Безхутрий Ю.М. (відп. ред.), доц., канд. філол. наук Шеховцова Т.А. (відп. секр.), проф., д-р філол. наук Голубева З.С., проф., д-р філол. наук Піддубна Р.М., проф., д-р філол. наук Калапник В.С., проф., д-р філол. наук Михайлин Л.І., проф., д-р філол. наук Міхільов О.Д., проф., д-р філол. наук Московкіна І.І., проф., д-р філол. наук Сукаленко Н.І., доц., канд. філол. наук Кравчук І.С., доц., канд. філол. наук Лагунов О.І., доц., канд. філол. наук Шевелєв В.М., Ткач О.С. (техн. редактор).

Адреса редакційної колегії: 61077, Харків, м. Свободи 4, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, філологічний факультет, тел. 45-73-33. Видавничий відділ ХНУ.

Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (протокол №2 від 25 лютого 2000р.).

Реєстр. свід. КВ №4063

2/34
© Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000

А.А. Анютина

Выражение объектных отношений в английском и русском языках

Проблема объектных отношений и приемов их выражения в разных языках занимает важное место в лингвистике. Объектные отношения принадлежат к тому разряду грамматических категорий, которые обнаруживаются в языке любого типа. В своем труде «Язык» [3] Сепир указывает, что важные для коммуникации понятия не могут не быть выражены в языке. Анализируя субъектно-объектные отношения на примере «the farmer kills the duckling» Сепир писал: «Можно умолчать о времени, месте, числе и о множестве других понятий всякого рода, но нельзя увернуться от вопроса, кто кого убивает. Ни один из известных нам языков не может от этого увернуться». Подобные «реляционные понятия» (по терминологии Сепира) являются ценными для коммуникации и должны находить себе формальное выражение в любом языке.

И.И. Мещанинов в работе «Члены предложения и части речи» [2] пишет, что «Объект действия, наличный в высказывании, получает в различных языковых контекстах, а иногда в одном и том же языке, далеко не однообразное выявление в строе предложения». Действительно, грамматическое выражение отношений субъекта, объекта и предиката могут быть глубоко различными. Для определения синтаксических отношений членов предложения лингвистам приходится считаться с типологическими чертами данного языка. И.И. Мещанинов объясняет различное положение прямого дополнения прежде всего семантикой глаголов, в которой отражена большая или меньшая степень конкретного действия, передаваемого глаголом. Указывая на то, что объект действия является конкретизатором действия, направленного на данный предмет, И.И. Мещанинов пишет, что отношение этого предмета к действию связано с восприятием значения конкретности или отвлеченности действия. Действие, отвлеченное по своему значению, более закончено и не нуждается в дополнительных характеристиках.

Прямые дополнения при глаголах, выражающих выпущенную семантику, самостоятельны и лишь привносят дополнительную конкретизацию, обусловленную смыслом всего высказывания в целом. Глаголы, передающие конкретные действия, направленные на объект, не могут полностью выявить свое значение без участия прямого дополнения. В подобных случаях степень зависимости прямого дополнения от глагола возрастает. Большая семантико-синтаксическая зависимость прямого дополнения от подчиняющего слова наблюдается во многих языках. Конкретный анализ тех типов прямого дополнения, которые могут быть обнаружены в разных языках или в различных по структуре предложениях одного языка, должны проводиться

с учетом всех факторов, обуславливающих как структурные, так и семантические черты данного элемента предложения.

Содержание глагола играет имеет большое значение для значения дополнения в глагольном словосочетании. Во многих случаях неприменимым оказывается определение, широко распространенное в нормативных грамматиках, согласно которому дополнение обозначает лицо или предмет, над которым совершается действие. Суит отметил, что в предложении *He fears this man* «Он боится этого человека», отношения выглядят как бы перевернутыми: подлежащее в именительном падеже обозначает предмет, подвергающийся воздействию, а лицо в винительном падеже — источник воздействия [5]. Следовательно, значение дополнения варьируется в зависимости от бесконечно разнообразных значений самих глаголов. Содержание отношения в группе «глагол-дополнение», взятое в семантическом аспекте, представляет собой как бы нечто производное от суммы лексических значений сочетающихся слов. Последнее хорошо видно на примерах, приводимых Есперсеном, в которых степень идиоматической связанности значений глагола и его прямого дополнения очень различна: *kill the calf* «убить телят», *kill time* «убить время», *run a risk* «подвергнуться риску», *run a business* «руководить делом» [1].

Очевидно, что с грамматической точки зрения отношение во всех вышеприведенных примерах одинаково. Семантическая детализация идет как бы «внутри» одного грамматического отношения, одной грамматической рамки в зависимости от ее лексического наполнения.

В большинстве случаев семантическое значение глагола в известной мере предопределяет семантический подкласс существительного, выступающего в функции объектного синтаксического элемента. Например, в структуре с глаголом *to cut* «резать» в качестве объекта могут выступать только существительные, обозначающие вещество или предмет такой консистенции, которая допускает передаваемое глаголом действие: *to cut wood/paper/ cake* и т.д. У многих глаголов широта охвата разных видов объекта велика. Например, глаголы *to gather* или *to collect* допускают в позицию объекта как названия конкретных предметов (*to gather flowers/shells/a crowd – to collect stamps/pupils/bird's eggs*); так и абстрактных сущностей: (*to gather strength/speed/information/experience – to collect thoughts/ideas/courage*) и т.д.

Семантическое содержание глаголов может предопределять грамматические формы комбинирующихся с ними языковых единиц. Например, глаголы *to gather*, *to differentiate* предполагают появление последних в форме множественного числа: *to gather flowers/shells, to differentiate varieties of plants*.

Однако если множественный объект представлен различными типами предметов, то их перечисление в тексте обычно представлено серией имен существительных в форме единственного числа: *to differentiate the hare from the rabbit*.

Отдельные семантические группы глаголов проявляют значительную избирательность в отношении типа объекта. Существуют такие глаголы, ко-

которые могут комбинироваться только с объектами, которые называют предметы реальной действительности, обладающие определенной консистенцией. Например, to drink/sip – tea/coffee/milk/wine/water.

В ряде случаев один и тот же неязыковой факт имеет двойную репрезентацию в языке и может быть выражен как объектным, так и безобъектным способом: To have thoughts of = to think of; to cast a glance = to glance; to tell a lie = to lie; to display fear = to fear.

В русском языке можно привести аналогичные примеры: сделать анализ = проанализировать; сделать выбор = выбрать; сделать замечание = заметить; сделать измерения = измерить; сделать опибку = опибиться; оказать влияние = повлиять; дать объяснения = объяснить; дать обозначение = обозначить; выразить благодарность = поблагодарить; внести исправления = исправить.

В таком же аспекте подобные словосочетания рассматривал и И.И. Мещанинов, указывавший, что «ряд глаголов в русском языке требуют по своему собственному содержанию постановки связанного с ними имени в одном из косвенных падежей... Именно эти глаголы вместе с прямыми или косвенными дополнениями обычно передают одно цельное понятие. Они сохраняют свое смысловое единство и вне строя предложения, как обусловленное не смыслом предложения, а семантикой самого глагола... В обязательном прямом дополнении едва ли следует усматривать самостоятельно стоящее прямое дополнение» [2].

В то же время можно встретить словосочетания, включающие тот же глагольный компонент, но связанные с существительным объектной связью: испытывать оборудование, выразить переменную.

В словосочетаниях типа «приобрести значение», «получить значение», «принимать значение» также нельзя говорить об объектном значении. Хотя их невозможно заменить однословным глагольным эквивалентом, тем не менее они также являются словосочетаниями с единым смысловым содержанием. При этом, поскольку действие направлено на некоторый объект, то в словосочетаниях типа «переменная принимает значение», «переменная получает значение» в роли логического объекта выступает существительное «переменная», занимающая позицию грамматического субъекта.

Действие, предполагающее наличие нескольких участников, может быть представлено в языке либо безобъектно, причем в объектном варианте может отсутствовать фиксация субъекта и объекта действия и они легко меняются местами, не нанося этим ущерба смыслу выражения.

Безобъектная репрезентация того же действия с тем же количеством участников приводит к использованию формы множественного числа той единицы, которая выступает в функции подлежащего: he met her; she met him; they met.

Д. Теренс Лангендон отмечает, что в современном английском имеются переходные глаголы, для которых не существенна фиксация подлежащего и дополнения. Занимающие эти позиции имена существительные могут легко меняться местами. Например:

- 1) a. The tanker collided with the steamer.
b. The steamer collided with the tanker.
- 2) a. My opinion differs slightly from yours.
b. Your opinion differs slightly from mine.

Д. Теренс Лангендон также отмечает, что субстантивные группы, используемые в позиции подлежащего и дополнения, могут объединяться и вместе занимать позицию подлежащего:

- 1) The tanker and the steamer collided.
- 2) Your opinion and mine differ slightly.

Подобные структуры названы им структурами с симметричными предикатами.

В английском языке возможен ряд действий во внеязыковой реальности, направленных на ярко выраженный объект, существующий самостоятельно вне действия, но в языке это действие + его объект представлено безобъектным глаголом, как *to go rabbiting* = *to hunt rabbits*; *to go mushmooing* = *to gather mushrooms*; *to go blackberrying* = *to go out gathering blackberries*.

В случаях подобного употребления глагол имеет узкоконцентрированное значение и выражает действие, направленное на единственный в своем роде предмет, который сам включен в значение непереходного глагола. Такие глаголы существуют и в русском языке, например, «чаевничать», «рыбачить».

В современном английском языке существуют словосочетания, в которых постоянно и закономерно отсутствуют эксплицитно выраженные элементы, требуемые семантикой ядра. Это явление наиболее характерно для структур с постпозитивным определением, выраженным неличной формой глагола: *extra tickets to sell*, *a problem to discuss*, *a dangerous flight to undertake*.

Несмотря на отсутствие дополнения смысловая структура высказывания сохраняет связь объекта с действием, однако объект скрыт в грамматически господствующем слове, инфинитив обозначает действие, направленное на объект, выраженный субстантивным элементом.

При причастии II, выступающем в функции определения, распределение отношений таково, что доминирующий член синтаксического уровня является названием объекта при переходе на уровень семантики. Например: *a broken vase*, *a frightened child* – *to break a vase*, *to frighten a child*.

В русском языке отсутствуют структуры с постпозитивным определением, выраженным инфинитивом, однако можно провести аналогию между структурами с причастием II в английском и страдательным причастием в русском языке: *разбитая ваза* – *разбить вазу*; *испуганный ребенок* – *испугать ребенка*.

Литература

1. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 63.
2. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. Л., 1978. 387 с.
3. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М.-Л., 1934. С. 73.
4. Ярцева В.Н. О синтаксической роли прямого дополнения в языках различных типов // Члены предложения в языках различных типов. Л., 1972. С. 8–16.
5. Collected Papers of Henry Sweet arranged by H.C. Wyld. Oxford, 1913. P. 25.

Т.М. Берест

Семантика художніх слів *сонце* й *місяць* у сучасному поетичному мовленні

Тривала й різноманітна поетична практика стоїть за номінаціями небесних об'єктів. Назви *сонце*, *місяць*, *зоря*, *зірка* належать до засобів вираження народної символізації світу. Використовувані ще у фольклорі, слова на позначення світил широко вживаються в літературних творах, де набувають нових стилістичних і значеннєвих відтінків. Активізацією цієї лексико-семантичної групи позначені й поетичні твори молодих українських авторів кінця XX століття. Активністю і своєрідністю образного вживання в сучасному художньому мовленні відзначаються одиниці системи традиційної символіки астрономію *сонце* й *місяць*.

Серед особливостей функціонування названих лексем у молодій українській поезії 80-90-х років XX століття помітною є тенденція до актуалізації зниженої, негативної конотації, дещо огрубленого звучання. Наприклад, *сонце* асоціюється з *“великою плямою”*, слідом, де розчавили *“я” якогось чужого неба*” (Р. Мельників), а *місяць* виступає в ролі вішальника (*“учора повісивсь місяць...”*) (Р. Мельників) або собаки (*“І вив бездомний місяць уночі”*) (Н. Федорак). Поетичною уявою Оксани Мардус твориться насичений експресією образ сонця-ляпаса, мотивований особливим настроєвим сприйняттям кольору світила: *“А небо не зітре червоного ляпаса – холодного сонця”*. Негативний емоційний стан ліричного героя зумовлює виникнення метафоричних перифраз *місяць* – *“кокарда облуплена”* (В. Верховень) або *сонце* – *“помаранчева окалина”* (І. Пилипчук). Зміна емоційно-оцінних компонентів значень аналізованих слів не є новою для української поетичної творчості, наприклад, у фольклорі лексема *сонце* позначає і позитивне (життя, світло, красу людини), і негативне (руйнівну силу, безпеку) [3]. Негативні емоції викликають також образи *чужого сонця* Т. Шевченка [1], *пекучого сонця* – *манькального круга, монотонного сонячного потоку* М. Бажана [2] та деякі інші. У поезіях В. Стуса, за спостереженнями О. Маленко, “слова – номінанти небесних реалій репрезентують образні значення, сповнені виявом негативного емоційно-оцінного компонента: ...*сонце* – “неволя”, “руйнівна сила” [3:15]. Відптовхуючись від традиційного розуміння небесних світил, кожен поет по-своєму осмислює відповідні реалії і створює художні образи.

До засобів зниження емоційно-оцінного звучання “сонячних” і “місячних” образів зараховуємо також розвиток на основі значень форми чи температури семантичних природень, пов’язаних із поняттям посуду: *“Розпечена пательня сонця...”* (І. Козаченко); *“І місяця старий щербатий глечик / завис...”* (Р. Мельників). Джерелом таких “опобутовлених” образів є, з одного боку, враження, емоційне світобачення митця, з другого – фольклорна образність. Згадаймо, наприклад, загадку: *“Серед двора-двора лежить червона сковорода”*. Ряд контекстів, у яких на основі вираження оригінального психологічного сприйняття різних ознак світил – форми, кольору, температури,

відбувається зниження стилістичної забарвленості назв *місяць, сонце*, можемо продовжити прикладами, в яких аналізовані лексеми осмислюються як образи “гастрономічні”: “...дозріває місяця цуката” (І. Малкович); “Місяць – схолола яєчня...” (І. Козаченко). Іноді такі “їстівні” образи викликають несприйняття: “І доки вечірнє сонце береться плівкою жиру...” (С. Жадан). Серед способів зміни емоційного сприйняття поетичних слів *сонце* та *місяць* відзначаємо й уживання епітета *хижий* для образної передачі неприсмних властивостей як денного, так і нічного світила. Це зумовлює виникнення пейоративної конотації у значеннях аналізованих назв: “Час вибухає під місяцем хижим...” (І. Римарук); “...підсмажило її хижє сонце липнєве!” (В. Герасим'юк). Такий спосіб відбиття психологічного сприйняття місяця й сонця не є новим для української художньої творчості, наприклад, у “Словнику епітетів української мови” до іменника *сонце* наводяться означення: *люте, найжачене, хижє* і под. [5:330], до слова *місяць* – *кволий, мертвий, п'яний* тощо [5:200]. У мовній картині світу початку ХХ століття образ *місяця* має також переважно негативний емотивний ореол.

Зміну емоційно-експресивного елемента семантики символу *сонце* спостерігаємо при виникненні в лексемі на базі значень світла й кольору асоціативної семи ‘ліхтар’: “Червоного сонця китайський ліхтар” (С. Жадан). Навіть характеристика “високим означенням” *життєдайний* не зберігає позитивної забарвленості образу, а зумовлює появу конотації іронічності: “...коли цей ліхтар життєдайний вибухне / (...сонце невічне...)” (Ю. Андрухович).

Для молодшої сучасної поезії характерними є образи *місяця* й *сонця* з асоціативним відтінком ‘риба’. Таке прирошення відбувається на основі семими ‘відбиття, відображення чим-небудь або в чомусь [у воді – Т.Б.] цього небесного світила’ [4.–Т.4:299] унаслідок уключення до лексико-семантичних рядів типу *вода – витягувати – сіть – берег* при реалізації мотиву риболовлі (“*Плиплисть води / зрошує / ступні / піг / тих, / хто витягує / сіттю на берег сонце*” (Р. Мельників) чи завдяки означенню словом *риба* (“*Велика риба – сонце мертво хитатиметься на хвилях / внафтованих океанів...*” (С. Жадан). У поетичному побажанні Р. Мельникова: “...*щоб світились лускою сонця / очі / осі / наших / вічнозелених / земель*”, – образ світила-риби виникає з порівняння променів сонця із блиском луски.

Нечисленними є випадки збереження традиційно високого звучання мовосимволів *сонце* й *місяць*. Позитивна конотація аналізованих поетичних слів виявляється, наприклад, при наголошенні в значеннєвій структурі назв світил метафоричних компонентів ‘висота’, ‘недосяжність’ (“*До місяця підскочить хоче хвиля*” (О. Тараненко), ‘світло’ (“*Заступіть мені місяць і тьму, / Не давайте ні ласки, ні болю, / Дайте волю...*” (Ю. Бедрик); при використанні символу *сонце* як утілення світлого начала, морального й естетичного ідеалу (“*Він замовк, щоб брехні не співати, / Він пішов з головою сумною, / ... / Ген до сонця, що зійде не скоро, / Геть од світу та од фіміаму*” (Ю. Бедрик), життя (“*Здається часом – сонце вже не зійде, / Хтось гине*

поруч./ Як оборону?..” (О. Пахльовська), як уособлення коханої людини (“*Ти – сонце. Я до тебе близько – сонях*” (О. Мардус).

Ірина МIRONENKO передає свою тривогу за долю планети зворушливим персоніфікованим образом заплаканої Землі: “*Жахливий сон приснився поету:/ на кулачках Сонця і Місяця / сльози Землі світяться*”. Деактуалізація значень, які пов’язують назви світил із тематичною групою “космос” – ‘світло’, ‘зірка’, ‘супутник’, ефект художнього зменшення масштабів небесних тіл через сполучення з деминутивом зумовлюють виникнення асоціацій з образом дитини, що поглиблює драматизм зображуваного. Лексеми *Місяць* і *Сонце* набувають контекстуально зумовленого відтінку значення ‘руки Землі’, посилюється позитивна конотація символів. У лексемі *Місяць* аналогічна переакцентація значеннєвих компонентів спостерігається при передачі враження від місячного проміння в образі “*змерзлих дитячих пальців Місяця*” (С. Жадан). У семантиці найменування нічного світила на перший план висувається оказіональна сема ‘дитя’. Поетичні образи *кулачків Землі* та *пальців Місяця*, зафіксовані нами в аналізованій поезії, перегукуються із сосюринським зображенням променів як *рук зорі, долонь зір*, що свідчить про існування традиції метафоричних найменувань такого типу.

Рух і положення світил на небі в загальнономовній і в поетичній традиції здавна пов’язуються з визначенням часу. У досліджуваному нами матеріалі поняття ‘пізно’, пов’язуване з появою на небосхилі місяця, образно конкретизується через наголошення в семантиці слова *місяць* експресивних значеннєвих компонентів ‘годинник’, ‘маятник’ (“*І місяця туманний циферблат / приховус, наскільки справді пізно...*” (І. МIRONENKO), “*місяця маятник обірвався з осі...*” (В. Остапчук) або переносного вживання ‘стрілка годинника’ (“*Місяць шпилить вже / скоро восьму*” (Р. Мельників). Асоціативне зіставлення *місяця* з годинником, а в останньому прикладі ще й сполучення з переносно вживаним, грубувато забарвленим дієсловом *шпилити* виділяють у лексемі поетичного ряду негативний смотивний ефект. “*Ні з гостинцями, ні без них, / і ні їхати, і ні йти, / але встигнути, щоб мости підпалити місяць не встиг*” (І. МIRONENKO) – у цих рядках, що нагадують казку про мудру дівчину, на основі денотативного значення ‘світло’ у слові *місяць* виникає образно-асоціативне вживання ‘палій’. З другого боку, контекстом реалізується і здатність лексеми виступати символом ночі, пізньої години. Зв’язок же з образом спалюваних мостів, співвідносним із фразеологічною одиницею *спалювати за собою мости* – ‘зробити неможливим повернення’ [6.-Кн.2:846], розширює символічну семантику аналізованої лексеми від позначення пізньої пори до передачі узагальненого значення ‘пізно’.

За християнізованою легендою, місячні плями – знамення гріха Каїнова, або знак братовбивства. Таким народним поясненням природних особливостей Місяця мотивується вживання назви світила для позначення зради, до переосмислення цього символу нерідко вдаються й сучасні поети. “*Я роздівляюся на місяці трійчата./ Брат не вбивав, а до свиней приставив*

брата –/ біблійська перекручена цитата?” (І. МIRONENKO) – споглядання ліричною героїнею нічного світила викликає асоціації із легендою про вбивство Авеля, що дає можливість вираження оцінки стосунків її сільського й міського дядьків. На основі нормативного значення ‘світило, елемент пейзажу’, міфологічних асоціацій, закріплених за образом, назва *місяць* семантизується як конкретно-чуттєве позначення зради, нехтування брата братом. Зрада коханого також зображується за допомогою образу *місяця*: *“А ти на місяці стоїш, / Любов тримаючи на вилах...”* (М. Браццilo).

Серед індивідуально-авторських уживань, які розсувають семантичні рамки поетичних слів *місяць* і *сонце*, створюють умови для появи нових оригінальних змістових напашарувань, слід назвати, наприклад, контекстуальний антонімічний зв’язок лексем *кров* і *місяць* (*“Спить весела і рум’яна / молода княжна... / Ще не кровію залита – місяцем душа”* (І. МIRONENKO)), мотивований, очевидно, ознаками кольору й особливостями психологічного сприйняття, а також загальнопоетичними символічними значеннями лексем *кров* (‘біда’, ‘загибель’). Таке протиставлення наголошує в назві світила позитивну конотацію, компоненти, пов’язані з поняттям спокою. Перифрастичне називання ясних жовтків *розсадою сонця* (*“...біле в білому зріс / і яріють жовтки –/ сонця тиха розсада”* (І. Малкович)), в якому аналізоване художнє слово, усупереч загальноприйнятим мовним нормам, поєднується з лексемою ‘рослинного’ плану, розширює семантику лексичної одиниці *сонце* асоціативно-образним значенням ‘рослина’. Разом з епітетом *черепне* лексема *сонце* виступає перифразою голови: *“За лезом – чиста синя смуга шкіри, / кров гусне в синє сонце черепне...”* (В. Неборак).

Таким чином, особливості семантизації символів *місяць* і *сонце* в досліджуваному поетичному матеріалі проявляються в тенденції до зниження експресивно-емоційної забарвленості художніх слів. Зміна традиційної конотації відбувається при вживанні експресем у стилістично-зниженому лексичному оточенні, при опобутовуванні образів через метафоричне зображення в ролі посуду, надання їм ‘гастрономічного’ звучання; через деактуалізацію сем ‘світило’, ‘космічне тіло’ й розширення меж значення аналізованих назв привнесенням експресивних структурних компонентів ‘риба’, ‘годинник’ (*місяць*) та ін. Поєднання з незвичними епітетами типу *хижий, незграбний, черепний, синій* також не сприяє збереженню традиційної емоційно-оцінної наповненості образів світил. Виділяємо ряд творів, в яких значення поетичного слова *місяць* зумовлене здатністю останнього викликати асоціації з фольклорними образами. У таких контекстах *місяць* виступає здебільшого символом зради. Позитивна експресивна забарвленість слів *сонце* й *місяць* зберігається при вираженні звичних для поетичного мовлення символічних значень ‘життя’, ‘щастя’, ‘доля’, ‘ідеал’ та ін. Унаслідок оригінальних індивідуально-авторських переосмислень у досліджуваному матеріалі експресеми набувають оказіональних семантичних відтінків: ‘дитя’, ‘кулачок’, ‘годинник’ (*місяць*), ‘рослина’, ‘голова’ (*сонце*). Отже,

поетичні образи *сонця й місяця*, здавна використовувані в художній творчості, збагачують у сучасній поезії свій семантичний обсяг.

Література

1. Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка. Харків, 1963. 252 с.
2. Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923–1940 рр.). К., 1971. 171 с.
3. Маленко О.О. Лексико-семантична група "небо" в українській поезії: Автореф. дис. ...канд. філол. наук 10.02.01 / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 1996. 20 с.
4. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. / Укл. В.В.Яременко, О.М.Сліпущук. К., 1998. ТТ. 2, 4.
5. Словник епітетів української мови / За ред. Л.О.Пустовіт. К., 1998. 431 с.
6. Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк та ін. К., 1993. 980 с.

І.В. Волкова

До питання синонімії в сучасній українській фізичній термінології

Питання реалізації синонімічних відношень у термінологіях звертало до себе увагу мовознавців приблизно з середини нашого століття. Досить часто у працях із термінологічних питань, що опубліковані до середини 70-х років нашого століття, зустрічаємо твердження про те, що термінам притаманні синонімічні відношення. Таку думку висловлювали Веселов В.П. [1], Прохорова В.Н. [2], Реформатський А.А. [3], Зубченко І.В. [4], Осипенко З.М. [5], та ін. У працях, датованих пізніше, більш поширеною стала думка про те, що термінам притаманна дублетність, а не синонімія. Прибічниками цієї точки зору стали Лейчик В.М. [6], Толікіна Є.І. [7], Русинова Л.Н. [8], Головін Б.Н. і Кобрин В.Ю. [9], Гречко В.А. [10], Стецюк Р.І. [11], Даниленко В.П. [13].

Реформатський А.А. у своїй роботі [3] писав про синоніми наступне: "Слова-синоніми називають одну й ту ж річ, але співвідносять її з різними поняттями, і тим самим через назву розкривають різні властивості даної речі" [3:71]. Вважаємо, що саме співвідношенням названої речі з різними поняттями і об'єктами загальнолітературні синоніми відрізняються від синонімів термінологічних. Адже в термінології синоніми співвідносяться з одним і тим же поняттям і об'єктом. Саме через це згадані дослідники називають термінологічні синоніми дублетами. Наведемо приклади фізичних термінів-дублетів: *сигнетоелектрики* – *фероелектрики*; *електронно-дірковий перехід* – *p-p-перехід*; *дисперсна крива* – *лоренцівська крива*; *метод Ейлера* – *метод варіацій*; *варіаційний принцип Гамільтона* – *принцип найменшої дії*; *зсув* – *трансляція*; *повний нормований простір* – *банаховий простір*; *4-простір* – *простір Мінковського*; *функція Лагранжа* – *лагранжіан*; *матриця розсіяння* – *s-матриця*; *момент імпульсу* – *момент кількості руху*; *пі-мезони* – *π-мезони* – *піони*; *поліморфізм* – *алотропія*; *фазовий простір* – *Г-простір*; *ядерний магнітний резонанс* – *ЯМР*.

Отже, спираючись на думку згаданих вище вчених, вважаємо, що, досліджуючи сучасну українську фізичну термінологію, можна говорити про дублет-

ність термінів, бо вони називають те саме поняття чи об'єкт і, на відміну від синонімів загальнолітературної мови, не характеризують різні їх властивості. Тому надалі у дослідженні будемо використовувати терміни "дублетність", "дублет", "термін-дублет", "дублетний ряд". При дослідженні явища дублетності у фізичній термінології ми використовували вибірку термінів, що мають дублети, вилучену із фахових фізичних текстів (наукових статей, авторефератів, монографій, підручників для вузів, енциклопедичних фізичних словників). Вибірка містить близько 300 дублетних рядів фізичних термінів.

Нами виявлені такі типи термінологічної дублетності у сучасній українській фізичній термінології.

1. Один із дублетів є запозиченням, а інший – автохтонним фізичним терміном: *маса – вага; трансляція – зсув; каскадне охолодження – східчасте (ступінчасте) охолодження; чарм, шарм – чарівність (в КХД); імпульс – кількість руху; рефракція – заломлення (світла); радіація – випромінювання* та ін.

З приводу даного виду дублетності Даниленко В.П. у роботі [6] відзначає, що конкретна реалізація лексичної варіантності одних і тих же понять проходила у початковий період створення мови науки в трьох основних різновидах: 1) коли у мові вживалось кілька запозичень з різних мов для одного й того ж поняття; 2) коли поряд із запозиченим існувало в мові питоме слово; 3) коли з появою запозиченого слова спеціально створювалось питоме, що було б рівнозначне запозиченому слову за значенням.

2. Обидва терміни є запозиченими: *таон – T -лептон, аморфна речовина – ізотропна речовина, ядерна реакція синтезу – термоядерна реакція, ядро дейтерія – дейтрон, ядро тритія – тритон*.

3. У складі термінологічних словосполучень присутні автохтонні слова, що можуть бути як залежними, так і головними: *іонні грати – іонна решітка, позитивний електрод – спусковий електрод, магнітомеханічні явища – гіромагнітні явища, гомеополарний зв'язок – ковалентний зв'язок*.

У цьому (3) типі дублетності можна виділити підтип, у якому дублетна пара термінів-словосполучень містить автохтонні терміни, в одному з яких використано префікси іншомовного походження: *інфрачервоне випромінювання – теплове випромінювання*.

4. Один з термінів є повним найменуванням, а інший є аббревіатурою: *коефіцієнт корисної дії – к.к.д., електрорушійна сила – е.р.с., атомна одиниця маси – а.о.м., загальна теорія відносності – ЗТВ, спеціальна теорія відносності – СТВ, ядерний магнітний резонанс – ЯМР, квантова теорія поля – КТП, квантова хромодинаміка – КХД, кінська сила – к.с. та ін.*

5. Один з дублетів є епонімом: *стала Больцмана – фізична стала k , сили Ван-дер-Ваальса – сили взаємодії між молекулами, світ Мінковського – простір подій (у теоретичній фізиці), лоренцівська крива – дисперсна крива, метод Ейлера – метод варіацій, варіаційний принцип Гамільтона – принцип найменшої дії, множник Ланде – g -фактор та ін.* Серед термінів даного типу (5) нами виявлено такі пари дублетів, кожен з яких є епонімом: *лагранжіан – функція Лагранжа, яacobіан – функція Якобі, гамільтоніан – рівняння Гамільтона та ін.*

6. Даний тип дублетності є власне термінологічним, характерним для багатьох природничих наук (фізики, хімії, математики та ін.): до складу терміна входить символ. Наприклад: *фазовий простір* – *Г-простір*, *привабливі адрони* – *b-адрони*, *каони* – *K-мезони*, *множник Ланде* – *g-фактор*.

Серед термінів даного (6) типу спостерігаємо підтип дублетності, коли один з термінів містить символ, а другий – його мовленнєвий відповідник: *α-розпад* – *альфа-розпад*, *γ-випромінювання* – *гамма-випромінювання*, *G-парність* – *же-парність*, *Υ-мезони* – *іпси-мезони*, *Σ-зв'язок* – *сигма-зв'язок*, *π-зв'язок* – *пі-зв'язок*, *π-мезони* – *пі-мезони* та ін. Зрозуміло, що даний тип термінологічної дублетності реалізується у письмовому фаховому мовленні. В усному ж мовленні виявлення його є неможливим.

У названому типі (6) термінологічної дублетності вичленовуємо ще один підтип, у якому один з термінів-дублетів є загальноприйнятим у фізиці символом, що відомий усім фахівцям-фізікам, а також фахівцям суміжних галузей знань (математикам, хімікам). Такий символ, реалізуючись у фаховому мовленні, набуває термінологічного значення, наприклад: *маса мюона* – m_μ , *маса нейтрона* – m_n , *елементарний заряд* – e , *стала Планка* – h , *електронна стала* – μ_e , *стала Авогадро* – N_A , *магнетон Бора* – μ_B , *стала Віна* – b , *універсальна газова стала* – R , *комптонівська довжина хвилі електрона* – λ_c та ін.

Важливо ще раз зауважити, що символ у фізичному фаховому тексті часто набуває термінологічного значення, тобто повністю заміщає собою термін-слово (термін-словосполучення). У фаховому мовленні символ може реалізуватися так само, як і будь-яке слово, наприклад: *ізобари* – ... *ядра атомів*, які мають однакові масові числа M , але відрізняються зарядовими Z [14:123].

Зазначимо, що символічне позначення фізичної величини співіснує у субмові фізики зі своїми словесними двійниками: A – *робота*, A – *амплітуда* (коливань), t – *час*, t° – *температура*, V – *об'єм*, ρ – *густина*, λ – *довжина хвилі*, F – *сила*, Φ – *світловий потік*, H – *напруженість*, E – *енергія*, p – *вага*, m – *маса*, g – *прискорення вільного падіння*, a – *прискорення* та ін.

Щодо названого (6) типу термінологічної дублетності фізичних термінів відзначимо, що у перекладних фізичних словниках (тобто у сфері фіксації) знаходимо той з дублетів, що не містить символу. Ліпше довідкові словники з фізики дають обидва терміни дублети, причому дублет із символом укладачі словників розташовують другим, а не першим: *Мессбауєра ефект*, *ядерний γ-резонанс* – ... [14:182]; *матриця розсіяння*, (*s-матриця*) – ... [14:181]; *магнітний опір* (R_m) – ... [14:175]; *каони* (*K-мезони*) – ... [14:133] та ін. А от у фахових наукових роботах з фізики (тобто у сфері вживання) часто віддається перевага саме символу-термінам, бо їх використання дозволяє скоротити і спростити пояснення явищ, обчислення тощо.

Важливим моментом у характеристиці дублетності фізичних термінів є те, що дублети об'єднуються не лише в пари. Нами зафіксовано вживання трикомпонентних дублетних рядів, наприклад: *водень 1* – *гаплоген* – *протій*; *водень 2* – *диплоген* – *дейтерій*, η – *к.к.д.* – *коефіцієнт корисної дії*, E – *е.р.с.* –

електрорушійна сила, температурна шкала Томпсона – абсолютна шкала – шкала Кельвіна. Щодо останнього дублетного ряду зауважимо, що перший термін у ньому є застарілим, бо у 1892 році Томпсон отримав титул барона Кельвіна.

Також нами зафіксовано вживання чотирикомпонентного дублетного ряду: *катодні промені – X-промені – ікс-промені – рентгенівські промені*, а також п'ятикомпонентного: *автоелектронна емісія – електростатична емісія – польова емісія – тунельна емісія – холодна емісія*.

У субмові сучасної фізики присутні також терміни-синтаксичні дублети. Але їх розгляд потребує окремого дослідження.

Таким чином, можна зробити такі висновки:

1. Сучасна українська фізична термінологія характеризується наявністю явища термінологічної дублетності, яке значно відрізняється від явища синонімії у загальнолітературній українській мові.

2. У фізичній українській термінології виявлено дублетність таких типів: один із членів дублетного ряду є запозиченим, а інший – автохтонним терміном; обидва терміни є запозиченими, обидва дублети є автохтонними утвореннями; один із термінів є повним найменуванням, а інший – аббревіатурою; один із дублетів є спонімом; один із дублетів є символічним найменуванням.

3. Найбільш поширеним за кількістю компонентів у досліджуваній термінології є двоконпонентний дублетний ряд, зустрічаються також три-, чотири- та п'ятикомпонентні ряди.

Література

1. Веселов П.В. Оправданный случай синонимии в терминологии // Русская речь. 1969. №5. С. 77–81.
2. Прахорова В.Н. Синонимия в терминологии // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. Горький, 1971. Т. 2. С. 470–473.
3. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М., 1967. 204 с.
4. Зубченко И.В. Синонимия и антонимия в терминологической лексике // Вопросы терминологии и терминологической статистики. Воронеж, 1976. С. 42–46.
5. Осипенко З.М. Різновиди термінів і їх семантичні особливості // Мовознавство. 1974. №2. С. 65–69.
6. Лейчик В.М. Термины-синонимы, дублеты, эквиваленты, варианты // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1973. Вып. 2. С. 103–107.
7. Толикina Е.И. Синонимы или дублеты? // Исследования по русской терминологии. М., 1971. С. 78–89.
8. Русинова Л.Н. О некоторых вопросах упорядочения и стандартизации терминологии (терминологическая синонимия) // Термины в языке и речи: Межвуз. Сб. Горький, 1985. С. 25–32.
9. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высш. шк., 1987. 104 с.
10. Гречко В.А. Синонимия терминов // Актуальные проблемы терминологии и словообразования. Новосибирск, 1974. Вып. 3. С. 447–450.
11. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект): Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. К., 1997. 40 с.
12. Стецюк Р.І. Українська кардіологічна термінологія (структурно-семантична характеристика): Автореф. дис... канд. філол. наук.: 10.02.01 / Запорізький держ. ун-т. Запоріжжя. 1998. 20 с.
13. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. М., 1977. 246 с.
14. Біленко І.І. Фізичний словник. 2-ге вид. К., 1993. 319 с.

О.Л. Воробьева

**К проблеме семантики и структуры
фразеологических единиц компаративного типа
(на материале английского, французского
и украинского языков)**

В данной статье мы ставим перед собой цель рассмотреть фразеологические единицы (далее ФЕ) компаративного типа с точки зрения их семантической и коннотативной характеристики, уделив особое внимание отношениям синонимии, существующим между оборотами этого типа. Будет произведена попытка сделать некоторые обобщения и дать классификацию фразеологических синонимов, исходя из их грамматической структуры и словной формы, а также лексических значений, составляющих их компонентов.

Устойчивые сравнения, называемые компаративными ФЕ, имеют большой удельный вес во фразеологическом фонде современных языков и относятся к наиболее устойчивым сочетаниям, особенно в разговорной речи. Известно, что сравнение как мыслительный процесс играет важную роль в чувственном познании и осмыслении окружающего мира. Оно является *«наиболее естественным и древним способом выражения»* [7:45], возникшим вместе с языком как одно из проявлений выразительных возможностей.

Характерной чертой рассматриваемых ФЕ является тот факт, что сравниваемые в них предметы и явления выступают не в тождестве, а в разграничении. *«Сравнение выделяет общие признаки в объектах разных по своей материальной сущности»* [1:261], что способствует более точной и экспрессивной оценке последних. *«Следует отметить, что сходство обычно усматривается в тех чертах, признаках, которые не являются существенными, характерными для обоих сравниваемых предметов (явлений), а лишь для одного из них»* [4:168–169].

Слово, обозначающее денотат, являющийся носителем признака, по которому производится сравнение, нередко выступает в своем метафорическом значении.

Для иллюстрации этого положения приведем пример, предложенный Арутюновой [2:339–340]. Слово 'медведь', приобретя метафорическое значение, практически утратило заключенный в нем конкретный смысл и растворило его в общем представлении об обозначаемом предмете. В процессе метафорического переосмысления из этого представления были вычленены лишь отдельные коммуникативно важные черты, носителем которых и стал данный образ.

С точки зрения сопоставительного языкознания интересно проследить, носителем каких характеристик является один и тот же образ в языковых картинах мира разных народов. В данном случае в русском языке медведь изначально являлся символом неуклюжести и грубости. В украинском языке медведь также преимущественно является символом неуклюжести, медлительности (ср.: *повертається як ведмідь за горобцями* и др.). Но, в отличие от русского языка, вторым компонентом значения здесь скорее выступает

глуповатость и простоватость, а не грубость. Во французском языке доминирующим признаком этого образа выступает мохнатость, волосатость (ср.: *velu/poilu comme un ours*), а в английском — озлобленность, рассерженность (ср.: *cross like a bear (with a sore head)*).

Следует также отметить, что «сравнение может привлекать внимание к любому по своему характеру свойству — постоянному или эпизодическому» [1:258], интерентному или кажущемуся.

Теперь обратимся непосредственно к лексическому и структурному аспектам выражения компаративных отношений и синонимическим связям между сравнительными фразеологическими оборотами.

Фразеологические синонимы характеризуются близостью и общностью значений. Одним из основных факторов, влияющих на степень этой близости и общности, является их лексико-грамматическая структура. Следует отметить, что фразеологические синонимы могут частично совпадать или полностью не совпадать по лексическому составу.

Исходя из выше изложенного, можно выделить следующие типы фразеологических синонимов (при этом была использована классификация, предложенная А.Г. Назаряном [6:232]):

1. Наиболее тесная смысловая связь существует между фразеологическими синонимами, имеющими общий компонент (или компоненты) и аналогичную структуру. Общим компонентом выступает, как правило, субъект сравнения, т.е. слово, обозначающее признак, по которому осуществляется сравнение. Например: *sleep like a log/top* «спать как убитый»; *méchant comme un âne rouge/un coq/un diable/une gale/une teigne* «злой как черт»; *красива як вівця сива/як відьма з Лисої гори*.

Однако, и в этом случае нельзя говорить об абсолютной синонимии, ибо различие в образах всегда сказывается в той или иной степени на значениях данных ФЕ.

2. Менее тесная смысловая связь присуща фразеологическим синономам, обладающим аналогичной структурой, в которых субъект сравнения (сравниваемый признак или действие) выражен синонимичными словами или словосочетаниями. Например:

agil comme un chat = leste comme un singe «проворный, быстрый»; *любить як вовк вівцю = милує як вовк барана = жалує як вовк поросяти*.

3. Наименее тесная связь существует между разноструктурными синонимами, различающимися как по лексическому составу, так и по грамматической структуре. В этом случае правомерно говорить не об общности, а о близости значений. Например:

(as) pleased as Punch = like a dog with two tails «очень довольный»; *чорно в роті як у відьми = злий як вовк «об очень злом человеке»*.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что совпадение значений может быть не только качественным, но и количественным, если мы имеем дело с полисемантическими ФЕ. Такие фразеологические синонимы могут совпадать по всем значениям, по некоторым или по одному. Например:

rond comme une boule 1) круглый как шарик; 2) хорошо упитанный, толстый; 3) арго. пьян в стельку.

Существует несколько синонимичных ему оборотов:

rond comme une balle [к 1, 2, 3 значению]; *rond comme une caille* [к 2 значению]; *rond comme une pomme* [к 1 значению].

Во фразеологических синонимах наблюдается сложное переплетение семантических и стилистических элементов. С этой точки зрения можно выделить три типа фразеологических синонимов: идеографические, стилистические и стилистико-идеографические [см. 5: 109].

1. Идеографические синонимы

Идеографические синонимы отличаются оттенками значения. При совпадении архисем, т.е. родовых сем, они различаются дифференциальными семами при одинаковой или различной образности.

Примером ФЕ с одинаковой образностью могут служить полукомпаративные фразеологические синонимы типа *as hell – like hell*. *As hell* (разг.) «адски, дьявольски, чертовски»; *like hell* (разг.) 1) очень спешно, во всю мочь; = как оглашенный, как сумасшедший; 2) ужасно, отвратительно, чертовски плохо; = из рук вон плохо; *as the devil – like the devil* «ужасно, чертовски». Обороты с союзом *as* являются интенсификаторами прилагательных, а с союзом *like* – глаголов. Общей архисемой является сема интенсивности. Дифференциальные семы связаны с характером интенсификации.

Примерами фразеологизмов с различной образностью могут служить английские обороты: *fight like cat and dog u fight as Kilkenny cats*. Архисемой обеих ФЕ является «враждебность отношений между кем-либо». Дифференциальной семой первой ФЕ является «ссориться с кем-либо, не выносить кого-либо», а второй – «сражаться до взаимного уничтожения». В украинском языке существуют такие фразеологические выражения: *розумний як дідова коза*, *хитрий як лис* и *хитрий як біс*. Архисемой этих оборотов является «хитрость», дифференциальной семой является соответственно «лживость», «коварность», «сообразительность, смекалка».

2. Стилистические синонимы

Стилистические синонимы обозначают одно и то же понятие, но различаются стилистической принадлежностью. Так, понятие «вовсе не считаться с кем-либо или с чем-либо, думать о чем-либо как о прошлогоднем снеге, плевать на кого-либо или на что-либо» во французском языке выражают многие ФЕ, различающиеся в стилистическом отношении. Приведем некоторые из них: *s'en moquer comme de l'an quarante* (разг.); *se ficher du tiers comme du quart* (прост.); *s'en moquer comme de Jean de Werth* (устар.); *s'en soucier comme de neiges d'antan*.

3. Стилистико-идеографические синонимы

В синонимах этого типа наблюдаются как чисто семантические, так и стилистические различия. Например:

gros comme le poing (разг.) и *haut comme deux sous de fromage* (прост.). Архисемой обеих ФЕ является обозначение небольшого размера. Но первая

обозначает размер во всех измерениях, а во второй акцент преимущественно делается на высоте.

Следует отметить, что сравнения обычно являются ФЕ с ярко выраженным оценочным значением как положительным, так и отрицательным. Характер этой оценки может зависеть как от семантики отдельных компонентов, так и от целостного значения ФЕ. При этом оценочными являются не только те фразеологические обороты, «где встречаются собственно оценочные слова хорошо/плохо, но и многочисленные ряды сообщений [в нашем случае – ФЕ, прим. автора], куда входят слова или выражения, включающие оценочную сему как один из элементов своего значения... Оценочный смысл имеют высказывания с глаголами, содержащими оценочную сему, и многие другие, где смысл «хорошо/плохо» обнаруживается в одном из компонентов» [3:163]. Например:

aimer comme ses yeux «очень любить»; *to have a mind like a cesspool/sewer* «иметь грязные, порочные мысли»; (букв. иметь голову как выпребную яму); *визірівся як на батька*; *жито як золото* «отборная, наливная рожь».

Эти выражения имеют положительную или отрицательную характеристику в зависимости от оценочных сем выделенных компонентов.

Особое место среди оценочных высказываний занимают сообщения, которые не содержат эксплицитных оценочных элементов ни в виде слов, ни в виде сем в отдельных словах и, тем не менее, могут приобретать оценочное значение на основе стереотипов, существующих в общей для данного языкового коллектива картине мира. Например:

venir comme un chien dans un jeu de quilles «прийти некстати, не вовремя» (букв. прибежать как собака во время игры в кегли [и, сбив их, помешать игрокам]); *дивитись як Ленін на буржуазію*; *зрікся як апостол Петро Христа*.

ФЕ в силу своей раздельноформленности обладают как общим для всей ФЕ значением, так и комплексом значений, составляющих ее компонентов. Несмотря на значительную ослабленность этих значений, они все же вступают во взаимодействие друг с другом, с общим значением фразеологизма и его грамматической и синтаксической формой, что ведет к возникновению многочисленных коннотаций, оттенков значения и различной сочетаемости ФЕ. Причем, особенно рельефно эти различия проявляются внутри синонимических групп.

Собственные лексические значения компонентов ФЕ могут вносить корректировки и дополнения в общее значение, в том числе и оценочного характера. Здесь необходимо отметить, что положительность или отрицательность значения ФЕ может определяться как оценочными семами значений входящих в него компонентов, так и семантикой выражения в целом. В последнем случае оценка может быть выражена имплицитно, однако легко воспринимается всеми членами языкового коллектива, т.к. подобные выражения, как правило, возникают в результате «сжатия» первичного контекста (литературное произведение, поверье, исторический факт), известных всем носителям языка. Следует, однако, заметить, что нередки случаи, когда первоначальный контекст

утрачен, но вираження продовжує функціонувати з затемненою семантикою, або поміщається в новий контекст. Разнообразие словной, грамматической и синтаксической формы сочетания позволяет произвести дифференциацию значений, выделить стилистические и семантические нюансы, что способствует более ясной и точной передаче информации как логического, так и экспрессивного характера.

В заключение следует отметить, что в разных языках в одном и том же образе лингвокреативное сознание народа может выделять как сходные, так и различные (вплоть до противоположных) черты, что позволяет отразить неповторимый колорит культуры и ментальности нации.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Синтаксические функции метафоры // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1978. Т. 37, N3. С. 251–262.
2. Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1978. Т. 37, N4. С. 333–343.
3. Вольф Е.Н. Функциональная семантика оценки. М., 1985. 227 с.
4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958. 458 с.
5. Куинин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1986. 336 с.
6. Назарян. Фразеология современного французского языка. М., 1987. 287 с.
7. Georgin G. Les secrets du style. P., 1961. 143 p.

І.В. Гавриш

Мовні одиниці різних рівнів у науковому стилі

У науковому стилі мовні засоби відбираються залежно від особливостей людської діяльності в галузі науки. Саме специфіка цієї діяльності дозволяє визначити закономірності мовного відбору та функціональні завдання цього стилю. Специфіка наукового мислення визначає одну з основних стилевих рис наукового стилю – його узагальнено-відсторонений характер (як спосіб вираження абстрактної думки), який виявляється і у відборі слів, і у вживанні форм і синтаксичних конструкцій.

Для наукового стилю характерними є наукові терміни і термінологізовані слова, спеціальні, “відсторонені” значення тих слів, що вживаються в загальній мові, жанрово-стильова закріпленість деяких граматичних форм і частота їх вживання, стандартизованість будови і вживання слів, словосполучень і речень. “Специфіка наукового стилю виявляється в сукупності мовних засобів різних рівнів, тобто в тих функціональних семантико-стилістичних категоріях, які характерні для стилю” [1:23–24].

Сукупність мовних засобів, яка використовується в науковому стилі, можна визначити, простеживши на всіх рівнях мови узагальнений характер наукового викладу, необхідний для об’єктивного, логічно-суворого і цілеспрямованого подання наукової інформації.

Особливості будови наукового стилю на всіх рівнях – лексичному, морфологічному, синтаксичному – визначаються логіко-понятійною основою змісту

наукової інформації, пануванням таких принципів науки, як об'єктивність і точність. Науковий стиль є формою існування наукової інформації і засобом обміну цією інформацією, тому в ньому переважають мовні форми, спроможні адекватно, економно й точно передавати наукову інформацію, достатньо повно, чітко й однозначно, логічно й послідовно передавати думки.

Об'єктивність як диференційна риса наукового стилю також впливає зі специфіки наукового пізнання, яке встановлює об'єктивну наукову істину. Це зумовлює безособовість, об'єктивність викладу в наукових текстах і прагнення зосередити головну увагу на предметі висловлювання. У сучасній українській мові існує депо відмінна думка щодо мовних особливостей наукового стилю. Так, О.Г. Муромцева, досліджуючи науковий доробок Ю.В. Шевельова, зауважує, що разом із безособовістю у науковому стилі простежується індивідуальність самого автора, наявні авторські риси, що є складовою частиною наукового стилю [2:41]. Це, на нашу думку, повинно бути характерним для наукового стилю. Точність також є диференційною рисою наукового стилю, тому що наукове пізнання передбачає не тільки об'єктивне, але й точне відображення реальної дійсності. Тому перевага в науковій мові надається тим мовним засобам, які є однозначними і здатними максимально виразити суть поняття. На рівні лексичному — це терміни, з боку синтаксису це — максимальна повнота викладу через стислість, лаконічність, "економність" мовних засобів.

Для наукового стилю властивим є попереднє обмірковування висловлювання, чіткість викладу, суворий відбір мовних засобів, тяжіння до унормованого мовлення; він відбиває такий ступінь розвитку мови, коли висловлювання стають більш визначеними й точними, а в разі необхідності — абстрактними і здатними виразити всю складність думок і їх взаємозв'язок, коли слова-терміни наближаються до логічних понять, а речення — до суджень.

На лексичному рівні в науковому стилі переважають одиниці, які відображають наукові поняття — терміни. Терміни є важливою складовою частиною лексики української літературної мови. Вони використовуються для називання чітко окреслених понять певної галузі науки. Терміни в кожній галузі науки взаємно пов'язані і становлять собою чітко упорядковану систему, в якій закріплене місце кожного терміна. Ця група лексики позбавлена емоційного забарвлення і є важливим складовим компонентом лексичного складу наукового стилю. *"Над усією термінологічною роботою завжди тяжіли... ті ж самі завдання — забезпечити логічну витриманість системи найменувань (а це, природно, вимагало й вимагало особливої уваги до вибору застосовуваних словотворчих елементів), далі — придатність образної сторони слів-термінів найбільшою мірою нагадувати саме те, найменуванню чого вони мають служити, усунення загрози багатозначності запроваджуваного слова-терміна і т. д."* [3:92].

Для тексту наукового стилю характерна інтеграція і динамічна взаємодія лексичних одиниць з метою виконання комунікативного завдання тексту. У зв'язку з цим важливим є виявлення тих факторів, які сприяють створенню особливого лексико-семантичного складу наукового тексту. Одним із таких факторів є наявність у науковому тексті термінів, які створюють термінологічне

середовище наукового тексту, єдину термінологічну тональність його лексичного наповнення. А це означає, що в наукових текстах переважають слова зі своїми основними, прямими значеннями. Навіть терміни, утворені шляхом метафоризації (*комір, сорочка, палець, плече, втомленість металу* та інші), дуже швидко втрачають образність під впливом абсолютно нейтрального контексту. До термінів у науковому тексті ставиться цілий ряд вимог: точне співвіднесення термінів і понять, тенденція до однозначності, співвіднесеність граматичних форм, системність, правильна орієнтація на об'єкт у системі та інші. Однією з найважливіших характеристик терміна є дефінітивність, оскільки термін – це різновид дефінітивного слова й основною формою його існування є дефініція (визначення). Термінологічна система будь-якої галузі науки чи техніки відповідає своєму призначенню тільки в тому випадку, якщо в ній кожне поняття терміноване.

Специфіка наукового стилю літературної мови не обмежується сферою лексики (використання наукових термінів, слів з абстрактним значенням, іншомовних слів, інтернаціоналізмів). На інших мовних рівнях теж можна відзначити характерні для нього риси.

Визначаючи морфологічну специфіку наукового стилю, необхідно перш за все зазначити, що, по-перше, морфологічні засоби наукового стилю є стилеутворюючими і, по-друге, що для них характерний особливий відбір і регулярність використання певних словоформ, їх особливе поєднання і співвідношення. Використання частин мови визначається й обумовлюється тим, що стало об'єктом і причиною мовлення. Стилістичні можливості частин мови криються у співвіднесеності логічно-семантичних понять, які можуть з відповідними змінами передаватися різними частинами мови, наприклад: іменником і дієсловом (*друкування – друкувати*), іменником і прислівником (*успіх – успішно*), прикметником і іменником (*досконалий – досконалість*). Це дає змогу шляхом уважного добору частин мови уникати структурної одноманітності морфологічних одиниць, наприклад: *успішно працював над темою і з успіхом працював над темою, друкування результатів дослідження і друкувати результати дослідження*.

Прагнення до однозначності розуміння викладеного матеріалу призводить до збільшення ваги іменників: вживання віддієслівного іменника у сполученні з десемантизованим дієсловом у ролі присудка (*дати визначення замість визначити, надати підтримку замість підтримати, зробити підрахунок замість підрахувати, прийняти рішення замість вирішити, здійснювати контроль замість контролювати*) дозволяє уточнити виклад шляхом нанизування означень, виражених прикметниками чи іменниками в непрямих відмінках [4:564]. На іменниковій основі творяться наукові тексти розповідного та описового типу.

Оскільки в науковому викладі перше місце посідає розвиток думки, а не розвиток дії, то в ньому значно меншу роль відіграють дієслова в особовій формі. Ці дієслова здебільшого мають форму теперішнього часу і позначають не динамічний стан у момент мовлення, а постійну властивість. Форми

теперішнього часу дієслова функціонують у науковому мовленні у своєму найбільш абстрактному – позачасовому значенні, що створює нейтральний колорит викладу: *займає, живуть, збагачують, нагромаджують*. У зв'язку з тим, що специфіку наукового мовлення з його екстралінгвістичною основою складають узагальненість і абстрактність у всіх категоріях і формах, у тому числі і в роді та числі іменників, у контексті даного різновиду мовлення активізується абстрактноузагальнене значення цих граматичних категорій. Характерними для наукового стилю є вживання цифрового, а не літерного позначення числівників; широке використання іменників на позначення поняття ознаки, руху, стану, зміни; безособова манера викладу; використання службових слів, особливо прийменників і сполучників та близьких до них слів (у зв'язку з тим, що; за способом тощо); широке використання пасивних конструкцій для об'єктивної узагальненості та абстрактності без зазначення суб'єкта.

Точність словесного оформлення думки у науковому стилі, звичайно, поєднується з ясністю і зрозумілістю висловленого, що забезпечується правильним, відповідно до законів мови, вживанням слів, їх форм та синтаксичних сполучень. Кожна частина наукового твору, починаючи від цілого і закінчуючи окремим висловлюванням, відзначається логічною завершеністю. Панування принципу логічної завершеності суттєво впливає на синтаксис наукового стилю.

Структура синтаксичних одиниць підпорядкована логіці змісту. Це відбивається в будові синтаксичних конструкцій, у прагненні до розгорнутого і впорядкованого зв'язку між окремими частинами висловлювань і частинами тексту (будова абзаців і рядка абзаців).

Науковому стилю властиві і прості поширені речення з комплексом однорідних узгоджених і неузгоджених означень, з ускладненими відокремленими обставинами або без них, а також складні паратактичні і гіпотактичні конструкції з багатьма шарами предикації, періоди та надфразні єдності з узвичаєним порядком слів.

Синтаксис наукового стилю підпорядкований викладові складної системи наукових понять у їх найрізноманітніших взаємозв'язках, що зумовлює його найважливіші особливості. Синтаксис наукового стилю має чітко організовану будову речень, без чого неможливо було б висловити складну думку, в якій поєднуються складні відношення цілої низки понять, що перебувають між собою в різному логічному зв'язку (часовому, причинно-наслідковому тощо). У синтаксисі виразно виявляються дві тенденції: до подальшого ускладнення структури речення, відповідно до ускладнення наукового мислення, і до ясності синтаксичної будови наукового тексту, що сприяє швидкому сприйманню наукової інформації.

Науковий стиль характеризується тим, що його синтаксична будова обумовлена суворо логічною послідовністю викладу складних систем понять, тенденцією до вичерпного обґрунтування, мотивування думок, суджень, визначень, наукових положень, законів, узагальнень і висновків у вигляді точних формулювань, здобутими на підставі аналізу, аргументацією наукових

положень, розкриттям причинових взаємин між фактами і явищами дійсності тощо.

Для висловлювання таких думок, суджень, положень і под. у цілому комплексі їх складових частин найбільш зручною і доцільною синтаксичною конструкцією є ускладнене і складне речення з багатьма синтаксично поширеними однорідними, відокремленими членами, з розповідним інтонаційним оформленням речень, відокремленими дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами, вставними словами, які вказують на відносини між частинами речення, а також містять оцінку вірогідності повідомлення.

Таким чином, специфіка синтаксичної побудови наукового стилю полягає перш за все в активності простих поширених речень різних типів; у розповідному характері викладу; у використанні порядку слів як відображення логіко-граматичного членування; в активності однорідних членів речення; в широкому використанні відокремлених зворотів (дієприкметникових, дієприслівникових); в активності складних сполучникових багатокомпонентних речень із розгорнутим і впорядкованим зв'язком між окремими частинами висловлювання як відображення лінійності викладу в науковій мові, покликаний відображати логічний зв'язок і підкреслювати послідовність викладу; у використанні вставних слів і речень, які вказують на відношення між частинами висловлювання і також містять оцінку вірогідності того висловлювання; у чіткому розподілі на складні синтаксичні цілі та абзаци; у підкріпленні положень за допомогою схем, діаграм, карт, таблиць, реєстрів тощо.

Мовні засоби, які використовуються в науковому стилі – лексичні, морфологічні й синтаксичні, – взаємопов'язані зі своїми абстраговано-узагальненими значеннями. Така цілісність і взаємозв'язок мовних засобів із характерними для наукової мови значеннями створює специфічну якість мови – науковий стиль.

Отже, внутрішньостильові характеристики, певний набір диференційних мовних ознак наукового стилю, що визначають його як окреме явище, впливають з його основних стильових рис – абстрактності, логічності, об'єктивності й точності, оскільки науковий виклад, по суті, має абстрагований, логічний, об'єктивний і точний характер, що знаходить своє відображення в структурі наукової мови та в усій системі мовних засобів.

Література

1. *Нетайвода Н. Ф.* Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). К., 1997. 303 с.
2. *Муромцева О. Г.* Про стиль лінгвістичних праць Ю. В. Шевельова / Видатний філолог сучасності: Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова. Харків, 1996. С. 37–42.
3. *Булаховський Л. А.* Нариси з загального мовознавства. 2-е вид., випр. до доп. К., 1959. 307 с.
4. Сучасна українська літературна мова: В 5 кн. / За ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. К., 1973. Кн. 5. Стилiстика. 588 с.

Г. Губарева

Семантика

та стилістичні функції назв зеленої гами кольорів у поетичному словнику Ліни Костенко

У мовній картині світу Ліни Костенко особливої художньої значимості набуває зелена гама кольорів. І це природно, адже свою художню реальність поетеса переносить головним чином у сад і ліс – простір буття, де протікає напружене життя ліричної героїні [7:25]. Колористичні образи, побудовані на сприйманні зеленої барви, часто стають смисловими концептами поезії, можуть набувати символічного звучання.

Слід відзначити, що лексико-семантичне поле назв зеленого кольору в поетичному словнику Ліни Костенко кількісно небагате: до його складу входять лише лексеми *зелений*, *зеленіти*, *смагадовий*. Проте опадливість поетеси в барвкористуванні компенсується смисловою місткістю кольороназв, їх здатністю викликати широке коло асоціацій.

Традиційно в поезії зелений колір пов'язується із зображенням рослинного світу, водних реалій, природних явищ, що мають відповідне забарвлення. Колоративи в таких контекстах реалізують денотативний компонент значення. Прикладів прямого називання кольору в мові поетеси небагато: "*зелене гілля*" [3:290], "*зелений мох*" [3:112], "*зелений став*" [3:152], "*зелені лісочки*" [5:23]. Частіше семантика кольору в слові виражається опосередковано, тобто пряма назва чуттєвого сприймання кольору віддаляється від того предмета, явища, якому колір належить, і приписується іншому поняттю, пов'язаному з першим [1:91]. Віддалення від "джерела" кольору можемо спостерігати тоді, коли кольороназва виступає компонентом генітивної метафори, доволі продуктивної для мовотворчості Ліни Костенко [2:46]. Метафори родового відмінка досить прозорі за змістом і зрозумілі без контексту: "*верб зелений водоспад*" [3:391], "*зелені кучері сосни*" [6:24], "*зелений пензлик тополі*" [3:201], "*зелена грива шелоги*" [6:24]. У наведених прикладах кольорова семантика поєднується з позитивною емоційною оцінкою опoетизованих реалій. Актуалізацію прагматичного компонента відзначаємо і в такій метафорі: "*Трусне зелені кучері весна*" [4:137].

Нами зафіксовано єдиний приклад, коли колоратив *зелений* у поетичному контексті набуває негативного оцінного забарвлення, що невластиве для стилістики Ліни Костенко:

Верба усохне, і спилиють грушу.

Зелене море зроблять із Дніпра [3:397].

Зелений колір в осмисленні поетеси стає не лише ознакою всього рослинного світу, а й асоціюється з життєдайною силою природи:

Ось я зійду з наждачного перону

у цей зелений, цей черлений вир [4:9].

Лексема **зелений** як компонент перифрастичного виразу, що є поетичним означенням саду, реалізує, крім вказівки на колір, потенційний конотативний елемент значення “буйносилий, життєдайний”. Прироплення смислу підтримується у наведених рядках поєднанням колоратива зі словом **вир** та емоційністю поезизму **черлений**. Метафоричний епітет **наждачний** викликає асоціацію з кольором асфальту – сірим, та тлі якого природні барви видаються ще яскравішими.

Ускладнення семантики колоратива **зелений** відбувається при створенні метонімічного образу зелених папуасів у поезії “Осінь дикунська”:

І, настовбурчивши окраси –
зап’ястя, пера, пояси –
гудуть **зелені** папуаси,
лисніють литками ліси [3:332].

У поетичному контексті основне значення епітета суміщається з конотативною семою “стихийний”, яка підкреслює первозданність, незграпцоналізованість світу природи.

Ліна Костенко тонко естетизує усталений символічний зв’язок зеленого кольору з життям. Зникнення зеленої барви в осінній палітрі асоціюється з відмиранням природи:

Красива осінь вишиває клени
червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Вишій нас **зеленим**!
Ми ще побудем, ще не облетим.
А листя просить: – Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси – як вино.
Ворони п’ють надкльовані горіхи.
А що їм, **чорним**? **Чорним** все одно [3:323].

Поява в поезії чорного кольору як символу смерті підтримує актуалізацію в слові **зелений** семи “живий”. На рівні символіки можна говорити про появу контекстуальних антонімів **зелений** – **чорний**. Уведення символічних знаків життя і смерті розширює смислові рамки невеликої акварельної замальовки, гра кольору в осінньому пейзажі навіть роздуми про одвічний колообіг життя в природі.

Подібне семантичне ускладнення колоратива **зелений** спостерігаємо і в іншому контексті:

Півонії дуже гарні. Вуста в них напівзакриті.
А хто тут – за дощ?
Долошки. **Зелені**. Одноголосно.
А вас же вночі скупають, вже зрізаних, у кориті [4:139],

Цікавим з точки зору семантичних зсувів є використання кольоро-найменування *зелений* з периферійним значенням “недозрілий”:

КОЛОСОЧОК

Хтось зачепив... Ще й вусики зелені...

Не встиг іше налитися як слід.

В тоненький проріз верхньої кишені

ти вклав стебельце. І хитнувся світ.

Над самым серпом!

Якось мимоволі

Майнула думка, повна гіркоти:

Отак і ти... лежати міг... у полі...

і колосок крізь серце прорости! [4:145]

У наведеному контексті смислове навантаження припадає на єдину deta.

Доповнює зелену гаму смарагдова барва, яка в авторському осмисленні

Гора моя Княжа, далеко із тебе видно.

Смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі! [3:237].

У семантичній структурі аналізованої кольороназви поряд з основним

Недаром "жито" схоже на "життя".

Воно було **смарагдове**, як весни [4:145].

Порівняння кольору жита з весною підсилює денотативний компонент значення, оскільки саме навесні в природі переважає яскраво-зелене забарвлення, і водночас підтримує конотацію, бо весна є у звичайному символі зродження життя.

В емоційно-суб'єктивному світі поезії реальні кольори здатні набувати несподіваного звучання і позначати не тільки колір, але й відчуття [1:95]. Так, поєднання зорових і слухових вражень спонукало появу образу **смагадолої тиші**:

Он гномики заготовляють дрова

в **смагадолої** вечірній тишині [3:335].

Відхід від конкретного значення епітета **смагадолої** створює відчуття чарівності, казковості, якоїсь нерозгаданої таємничості природи. Згаданий образ зустрічається і в фіналі "Древляньського триптиху":

Шелестіли дуби, і **смагадова** тиша була.

У древляньському лісі сиділа на пні Історія.

А я шукала опеньки, та на неї там набрела [3:416],

але тут дещо змінені акценти, і авторський словесний образ сприймається як дух історичного часу.

Л. Ставицька звертає увагу на те, що в осмисленні поетеси **смагадолої** колір лісів, дібров стає художнім символом України поряд з традиційними чорним і червоним. [7:27]:

Червоне й горне кредо рукава.

Пшеничний принцип сонячного степу.

Такі густі **смагадолої** слова

Жили в тобі і вибухали з тебе

Слова росли із ґрунту, мов жита.

Добірним зерном колосилась мова [3:171].

Певно, для переходу епітета **смагадолої** у поетичний символ важливим є те, що кольорне значення відсувається на периферію (можна віднайти лише далекі асоціації з кольором через порівняння слова з житом), натомість з'являється значення "коштовний, дорогоцінний", яке органічно поєднується з семою життя.

Спостереження над використанням назв зеленої гами кольорів засвідчили, що поетеса, не віддаляючись від поетичної традиції, разом з тим оновлює її семантику. Для назв зеленого кольору характерне збереження кольорного значення, яке виражається прямо чи опосередковано в оригінальних метафорах; індивідуально – авторськими озвученнями в них реалізуються конотативні семи "юний", "живий"; свіжість переосмислення відзначаємо при розвитку потенційної семи "стихийний". Епітет **смагадолої** здатний виражати в контексті ознаку кольоровості і реалізувати приховані конотативні елементи, поява яких спричинена психологічною дією кольору, а також набувати символічного

звучання. У поетичному тексті згадані лексеми виконують емоційно-оцінну та експресивну функції.

Література

1. Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови. К., 1983. 156 с.
2. Краснова Л.В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко // Слово і час. 1995. №7. С. 45–53.
3. Костенко Л. Вибране. К.: Дніпро, 1989. 559 с.
4. Костенко Л. Над берегами вічної ріки. К., 1977. 163 с.
5. Костенко Л. Неповторність. К., 1980. 224 с.
6. Костенко Л. Сад нетанучих скульптур. К., 1987. 202 с.
7. Ставицька Л. Серцем вистраждане слово // Мовознавство. 1990. №6. С. 23–29.

Т.В. Гулак

Концепт «власти»

в современном политическом дискурсе (на материале российской прессы)

За последние годы дискурс (политический, критический, этический, педагогический и др.) стал важнейшим объектом лингвистических исследований. При всем разнообразии понимания этого феномена и разноречивости его определения (см. обзор Н.Н. Мироновой в [1]), для исследователей является очевидной нетождественность понятий дискурса и текста: дискурс проявляет себя в отдельных фрагментах текста, формируясь вокруг определённых базовых концептов.

Непосредственным объектом наших наблюдений является политический дискурс в том виде, в котором он репрезентирует концепт «власти». Этот концепт, как представляется, является центральным в современном идеологическом и текстовом пространстве, формируемом российской публицистикой. Ещё в начале 80-х годов исследователи разграничивали лишь два явления в этой сфере: дискурс самой власти и дискурс инакомыслия. В условиях же современного политического многоголосия обнаруживается множество отличающихся друг от друга дискурсов, проявляющих себя в системах тех или иных ценностных ориентаций.

Следует отметить и различие коммуникативной ситуации, в которой употреблялись материалы средств массовой коммуникации советского периода и в которой они функционируют сегодня. Это различие касается и создателя текста — адресанта (ср. его единство в советское время, обусловленное общностью идеологических установок, и разнородность современного адресанта, что связано с различными политическими ориентациями и речевыми целями), и адресатов («народ» — адресат советской газеты, независимо от конкретных коммуникативных целей текстов различных жанров, vs. «электронат» — потребитель и адресат современных газетных текстов). В условиях обострённой политической борьбы (особенно в предвыборный период) по-

нятие «власть» выступает в качестве того базового языкового концепта, вокруг которого строится большинство политических дискурсов.

Данная статья не претендует на представление структуры рассматриваемого концепта в полном объеме: мы ограничиваем свои задачи выявлением лишь его «актуального «активного» слоя» [2:40]. Следует также иметь в виду, что концепт «власть» может быть представлен в дискурсах двух типов – дискурсе самой власти и дискурсе о власти. В данном случае нас интересует второй тип. Материалом для наблюдений послужили публикации в газетах «Известия», «Версия», «Столичные новости», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Независимая газета», «Сегодня», «Российская газета», «Советская Россия», «Правда», «Завтра» и некоторых других центральных периодических изданиях России.

Сфера публицистики демонстрирует двунаправленную связь и воздействие языка и общества: с одной стороны, язык газеты является немаловажным фактором, влияющим на социальные события, с другой – в языке как в «зеркале истории» [3] отражаются важнейшие изменения в политическом сознании и поведении. Как отмечает авторитетный исследователь, «вербализованные в виде текстов в средствах массовой информации ценностные ориентации, приобретающие массовый характер выражения, то есть появляясь в виде «парадигмы текстов», уже являются собой некоторую зафиксированную установку, благодаря чему индивиды через средства массовой информации начинают осознавать свою аксиологическую близость или черпать ориентацию из соответствующих дискурсов (обрабатываться пропагандой)» [4:17].

Не являясь аксиологическим понятием, концепт «власть» тем не менее является сущностью, проявляющей ценностные ориентации, что и обуславливает специфику контекстов его функционирования.

В подавляющем большинстве изученных контекстов слово *власть* употребляется в двух из 4-х зафиксированных в академическом «Словаре русского языка» [5] значениях:

1. Право управления государством, политическое господство. Права и полномочия государственных органов (*Прийти к власти. Исполнительная власть*).

2. Органы государственного управления. Должностные лица, начальство (*Да он властей не признаёт! - Грибоедов, «Горе от ума»*).

Анализируя многочисленные примеры использования слова *власть* в значении «политическое управление», следует отметить, что современный читатель должен быть хорошо политически образован, чтобы разбираться в том сложном содержании, которое имеют номинации *система власти* или *вертикаль власти*. Давно устоявшееся метафорическое сочетание *ветви власти* соотносится с широкой парадигмой дескриптивных наименований: *власть законодательная, исполнительная, государственная, думская, верховная, региональная, президентская, судебная, представительная, республиканская* и т.п. Оценочные коннотации этих нейтральных по своим узуальным прагматическим свойствам номинаций целиком определяются интенцией

адресанта, проявляющейся в более широком контексте. Это относится и к актуализации второго из указанных выше значений слова *власть*. Ср., например: «К Новому году городские власти сделали детям подарок», «Власти спешно расчистили дорогу», «Власти и милиция смущенно помалкивали», «... чисто показушные «благodeяния» властей по отношению к пенсионерам» («Советская Россия»). Представители же различных политических группировок, претендующих на власть, получают образные наименования, которые охотно изобретает современная российская пресса: *медведи, старокремлёвцы, новокремлёвцы, яблочники, запутники* и т.п.

В официальных текстах, избегающих эксплицированных экспрессивных оценок, активно используются давно привычные для нашего восприятия фраземы-клише: *прийти к власти, передать власть, оставить (кому-либо) власть, удерживать власть в своих руках, взять власть в свои руки* и т.д. Однако в оппозиционной прессе однословные номинации и клишированные сочетания, связанные с констатацией факта обладания, смены или передачи власти в современной России, попадают в ярко выраженный критический контекст. При этом наблюдается связь с реликтами ценностных ориентаций русского сознания, согласно которым власть предстаёт как некая высшая ценность (ср. у Даля: *Великая власть отъ Бога. Всякая власть отъ Бога. Всякая власть Богу отвѣтъ дает... Бог дает тому власть, кому похочетъ...* [6:213]). Отсюда широкий спектр оценок представителей власти на шкале «достоинства», достаточного основания на её обладание: «Путин замахнулся на президентскую власть», «Власть узурпируется», «Ельцин решил-таки расстаться с властью» и т.п.

Дискурс, тяготеющий в своей основе к советскому политическому дискурсу, выявляет эти реликтовые ценностные представления в уже ином варианте, со сменой высших ценностных ориентаций: Бог — народ. Ср.: «Ельцин передал власть «наследнику», ни в чём перед народом не отчитавшись, ни за что не ответив» («Завтра»). Этот контекст демонстрирует химерическое сочетание ценностных реликтов с представлениями о необходимости демократической передачи власти. Ценностная установка *всякая власть от Бога*, освящавшая монархическую систему передачи власти, подвергается безусловной трансформации в критических контекстах, где не принимается сам принцип, прекрасно работавший в механизмах коллективной передачи власти по наследству в советские времена.

Трансформация реликтовых ценностей преобразует представление о ценностной природе власти в её ценовую стоимость. Власть покупают и продают, к ней стремятся, из неё извлекают выгоду, обладание властью даёт преимущества и блага: «Пьянящий запах власти и будущие дивиденды манят и молодых, и опытных политиков из, казалось бы, полярных лагерей» («АИФ»).

В современном политическом дискурсе о власти её характеристики базируются на нескольких основных критериях: сила власти, близость её к «народу», честность, законность. Соответственно можно выделить несколько бинарных оппозиций, соответствующих тому или иному критерию.

Сильная власть – слабая власть.

Критерий силы в дискурсах разного типа приобретает различные оценочные коннотации, проявляющие амбивалентную природу русского отношения к власти. Традиционно авторитарный характер российской власти обуславливает позитивный оценочный контекст силы власти; её традиционно антигуманный характер связывает эту характеристику с негативной оценкой. Следует отметить, что положительная оценка «силы власти» предполагает политический аспект её рассмотрения (соответствие власти её функции), негативная же оценка выводит этот критерий в аспект нравственности. Характерно, что в требованиях «сильной» власти звучат апелляции к воле народа, что в большей мере характерно для политических групп, как ориентированных на традиции российской империи, так и на традиции коммунистического прошлого. Это объединяет их представителей в рамках единого политического дискурса. Нелюбовь к «сильной руке» проявляет дискурс советского диссидентства, который ориентируется на демократические ценности западноевропейского типа. В этом дискурсе понятие «народ» сменяет понятие «гражданское общество».

Ср.: *«России опостыела слабая власть», «сильную руку наш народ ждёт уже давно», «эра безнаказанности кончилась»* («Собеседник»). И: *«Грядут андроповские времена», «К лаврам Пиночета?», «Будет ли диктатура мягкой?»* («Собеседник»), *«Путин облечён безграничной и бесконтрольной властью»* («АИФ»). Более осторожные авторы позволяют себе лёгкую иронию по этому поводу: *«Успех операции «Наследник» реален. В конце концов предполагаемое похмелье никогда ещё не удерживало от дозы любимого национального наркотика, будь то огненная вода или сильная рука»* («Собеседник»). *«Истосковавшиеся по твёрдой руке могут рассчитывать: они её дождались»* («Деловой вторник»). Таким образом, вкладывая в понятие «сильная власть» негативную оценку, оппозиционный дискурс создаёт образ всемогущего и непредсказуемого тирана, власть которого может привести к трагическим последствиям. Понятия «диктатура» и «режим» становятся в этом дискурсе синонимами к слову *власть*.

Народная власть – антинародная власть.

Эту оппозицию мы находим прежде всего в текстах, для которых характерно резко негативное отношение к существующей власти. Ярким примером являются издания КПРФ. Особенностью этой ориентации является то, что они обращаются к чётко определённой части избирателей – «народу». Это *люди труда, ветераны, честные труженики, простые люди*, – словом, люди в основном старшего поколения, в прошлом среднего материального достатка, испытывающие ностальгию по советским временам. Неслучайно в дискурсе коммунистической прессы появляются «оговорки» в виде *колхозники, рабкоры, советские люди* и др. Существующая власть оценивается здесь резко негативно в первую очередь потому, что она «антинародна»: *«Ясно, что успешно созданная партия власти сделает всё, чтобы ни власть, ни собственность больше не принадлежали народу», «Сегодняшние хозяева*

Кремля смотрят на собственный народ и национальные интересы страны с "широко закрытыми глазами", «Нам нужна подлинно народная власть, а не та, что под пятой разного рода криминальных и прочих мастаков». Все эти тексты содержат недвусмысленный намёк на то, что этой «антинародной» власти существует только одна реальная альтернатива – власть коммунистической оппозиции. В стихотворении, опубликованном в газете «Советская Россия» 3 февраля 2000 года, даются определения этой альтернативы:

Народная власть – низкие цены.

Народная власть – люди бесценны.

Народная власть – деньги, работа.

Народная власть – о детях забота...

Народная власть – есть Советская власть...

Власть капитала – народа обман.

Власть капитала – деньжища в карман.

Власть капитала – разбой, геноцид.

К власти народной принцип паразит...

Эта нехитрая речёвка имплицитно включает две оценочные составляющие в характеристике «народной власти»: её справедливость, противопоставленную несправедливости антинародной власти, и честность одной, противопоставленную нечестности другой. Понятие справедливости также неоднородно: с одной стороны, оно коррелирует с понятием равенства (уравнительной справедливости), с другой, соединяется «с внутренним убеждением, правдой» как внутренним законом [2:328], совестью. Именно эти понятия входят в семантическую зону **честности** – **бесчестности**, выявляя представление о правде как внутреннем законе. Семантическая оппозиция **честности** – **бесчестности** власти проявляет себя в теме лживости власти, её способности к обману, чаще всего корыстному (продажности власти). Адресату пытаются внушить, что он обманут, ограблен и введён в заблуждение: «Грязные выборы состоялись», «Россияне, прозрейте, чтобы увидеть, кто приходит!» («Правда»), «Если власть продажна, то сила её бумажна» («Российская газета»). Оценочные характеристики власти, таким образом, выявляют соотношения достаточного ограниченного набора ценностных понятий, которые входят в бинарные противопоставления оценочных признаков, но нередко представляют различные ценностные структуры.

Законная власть – незаконная власть.

Оппозиция **законная** – **незаконная** власть ориентирована на европейское представление о законе как законе юридическом. При этом незаконная власть определяется как наследственная, в связи с чем она становится одним из главных контраргументов оппозиционных власти дискурсов. В этом дискурсе механизм передачи власти определяется как *дворцовые интриги*, глава государства как *царь Борис*, что инициирует определённые исторические ассоциации. Преемник власти характеризуется как *кронпринц*, *престолонаследник*. Характеризующие метафоры: *королевские игры*, *беспрецедентное царствие*, *монархия роль*, *операция «Наследник»* и т.п. – поддерживают

идею нарушения закона. Вместе с тем представители и идеологи власти отвергают обвинения в нарушении закона, апеллируют к исторической традиции. Ср. высказывания главного идеолога российской партии власти: *«В России есть мощный потенциал наследования власти, который и будет реализован Путиным. Это поведенческий архетип, не зависящий от перемен последних 10 – 15 лет»* (А. Головкин, «Совершенно секретно», январь 2000 г.).

Формальная власть – реальная власть («закулисная», тайная)

Эта оппозиция давно стала объектом внимания историков и лингвистов. Как отмечает Ю.С. Степанов, тайная власть в русской общественной традиции ассоциируется то с масонством, то с мафией, то просто с некими «невидимыми» структурами реальной системы власти. В последнем случае представления о тайной власти имеют под собой исторические основания. Структура тайной власти в России, её эволюционный ряд и семиотическая устойчивость от «особого двора» Ивана Грозного до секретариата тов. Сталина демонстрируется в статье «Тайная власть» Словаря русской культуры Ю.С.Степанова. Практически все оппозиционные издания демонстрируют неприятие тайной (= реальной) власти в России. Читателю объясняется, что за спиной официальной высшей государственной власти стоят «истинные властители»: *«Кремлёвская компания – это всего лишь исполнители воли известного слоя людей, которым есть что терять и которые ничего терять не хотят»*, *«Даже школьник понимает, кто стоит за спиной немногословного премьера»*, *«... те, кто держал Путина микрофон»*, *«... те, кто писал ему сценарий»*, *«Надо отдать должное тем, кто режиссировал всё это»* («Советская Россия»), сочинительные сочетания *Кремль и олигархи*, *власть и деньги* стали давно привычными в дискурсе оппозиции. Они ставят знак равенства на месте союза «и», отождествляя власть и коррупцию: и формальная власть («независимые» марионетки), и истинная, тайная (опытные кукловоды) получают резко негативную оценку.

Таким образом, обнаруживается общая тенденция в оппозиционном дискурсе: существующая власть подвергается жёсткой критике, критический дискурс демонстрирует эксплицитный характер осуждения, отличается категоричностью и эмоциональностью этих суждений. Понятие власти как реально действующего политического органа всегда получает оценку «плохо» (власть – *антинародная, нечестная, незаконная, вероломная* и т.д.): *«Власть обманным путём добывает для себя победу даже не над оппозицией, не над соперниками по предвыборной гонке»*, *«Партия власти, которая действует вероломно и с откровенным наплевательством на закон, имеет несколько своих филиалов, но уже под другими вывесками»*, *«Власть постоянно борется с народом. Выборы для власти и её присных – действительно игра, острая, азартная. Игра на деньги»* («Советская Россия»). Показательно, что практически все политические противники, представители различных партий также резко негативно высказываются в отношении друг друга: *«прохвостократы»*, *«реформаторы – виновники разрушения страны»*, *«одна всем известная визгливая фракция в Думе»*, *«антикоммунисты*

и прозапандники», «демократическое пиночетолюбивое меньшинство», «преступная демократия». Критический дискурс тем самым приобретает вырожденный характер, поскольку полемические противники чаще всего используют не развернутые аргументы, а оперируют оценочными высказываниями, нередко аффективными, что характеризует речевую ситуацию скорее в терминах скандала, склоки, ссоры, свойственных бытовому поведению.

В некоторых не столь ортодоксальных изданиях политический дискурс характеризуется относительной выдержанностью тона, завуалированностью оценок. Власть здесь также является важнейшим объектом обсуждения, но текст в форме дискуссии, размышления даёт возможность читателю, адресату самостоятельно сделать оценку. Типичным способом представления и характеристики власти в дискурсах такого типа является её персонификация. Власть наделяется человеческими качествами, а человеку, как известно, свойственно иногда ошибаться. Ср. типичные контексты: «*Покаяние власти*», «*посмотреть в глаза власти*», «*власть искала одобрения*», «*власть не стеснялась правды*», «*власть колебалась, перемежая жестокость с осторожностью, отступлениями*», «*С В.П. у России появляется, может быть, самый реальный шанс сделать власть не жестокой, не карающей или милующей, не сибаритствующей или играющей в «личную скромность», а по-настоящему эффективной. То есть слугой народа, какой её хотят видеть и демократы, и коммунисты. Народ всё равно будет выбирать сердцем*». («Известия»).

Именно персонификация власти позволяет включать в критический дискурс широкий набор морально-правственных оценок, выводя отношения с властью в аспект интерсубъектных отношений. Персонификация власти выявляет её базовую метафору: *власть — это человек* (который ею наделён), отсюда и столь характерное для русского сознания представление о «харизматической» личности.

Метафора «*сильной руки*» в отношении к базовой метафоре являет собой лишь её синекдохическую реализацию. В контексте сознания, базовой метафорой которой является «*всякая власть от бога*», высший представитель власти неподсуден, в контексте иного сознания, где место Бога занимает человек, народ, он постоянно осуждается и обвиняется как несоответствующий идеалу (ведь «*голосуют сердцем*»). Ср. ироническое определение В.Шендеровичем В.В.Путина как «*наше нынешнее всё*».

Что касается эксплицитно выраженной положительной оценки власти, то она в современных политических дискурсах практически не встречается нигде, исключения составляют лишь ностальгические воспоминания о былых временах.

Предложенный анализ контекстов, характеризующих «власть» не выявляет в полном объёме границы соответствующего концепта, но всё же позволяет сделать следующие выводы:

— в характеристиках власти выявляется сложное соотношение параметров, связанных с различными ценностными системами;

– будучи исторически и культурно обусловленными, оценочные характеристики власти семиотичны и отражают некоторые стереотипы общественного сознания;

– на шкале оценочного отношения к власти выявляется приоритет этической оценки, которая представляет «власть» в сфере intersubjectных отношений;

– прагматический контекст, в котором обсуждается феномен власти, имеет обвиняющий характер, а степень его эмоциональности смещает дискурс критики в зону бытового речевого поведения и конфликта.

Литература

1. Миронова Н.Н. Оценочный дискурс: проблемы семантического анализа // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1997, т. 56, №4.
2. Степанов Ю.С. Словарь русской культуры: Константы. М., 1997.
3. Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны // Вопросы языкознания, 1993, №4.
4. Лассан Э.Р. Дискурс власти и инакомыслие в СССР: Когнитивно-риторический анализ. — Вильнюс, 1995.
5. Словарь русского языка: в 4-х т. – Т.1, М., 1981.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. – Т.1, М., 1956.

В.А. Гуров

Лингво-философские концепции мистических свойств слова

Мистические свойства слова питают многие эпистемологические и эстетические концепции, они растворены в мудрости поэтической мысли. Ср.: «Мысль изреченная есть ложь» – (Ф. Тютчев), представляя собою в разной степени эксплицитно выраженные идеи онтологии, функционирования и понимания языка в его различных дискурсах. Причем, мистицизм следует понимать не «в вульгарном смысле нелепых предрассудков и диких варварских обычаев», а в «высоком смысле утонченной философской рефлексии, примерами которой наполнена вся история человечества» [4:15].

Ср., как С.С. Аверинцев оправдывает «символическую экзегезу П. Флоренского (его этимологизирование в «Строении слова»): «Так, этимология «маловероятна», и все же, можно сказать, для этого достаточно, чтобы имеющие быть сказанным провоцировало акт интуитивного усмотрения» [4:14].

Слово становится живым и самодостаточным, отрываясь от реальной действительности. Описал этот феномен корреляции двойного сознания и значения слова в советском обществе применительно к общественно-политической лексике М.К. Мамардашвили (ср. понимание таких слов, как *воин-интернационалист*, *социалистическое соревнование*, как проявление социальной лжи). В семиотическом смысле этот социально-речевой феномен имеет характер асимметрии между означающим и означаемым, которая реализуется в широком пространстве мыслительного, художественного и обыденного словесного творчества.

Так, М.К. Мамардашвили писал: «Каждый из нас прекрасно знаком с феноменом ненужной и выморочной рассудочности, возвышенного умонастроения, когда, столкнувшись с чем-то возвышенным, смутно ощущаешь, что здесь что-то не так.

А что здесь не так? И что есть, если действительно что-то произошло и это что-то заставило тебя использовать какие-то понятия, имеющие привлекательную и магическую силу собственной эляции, возвышенности» [8:16].

Эти слова М.К. Мамардашвили созвучны мыслям автора о фетишизации метаязыка, архитектонике в научных исследованиях, приобретающих характер самодостаточности, отчуждающихся от масштаба их предмета и результата. Эта фетишизация, происходящая в сознании субъекта творящего, как бы имеет объективную предопределенность.

«... часто ли мы спрашиваем себя: что такое жизнь? что такое бытие? что такое субстанция? что такое сущность? что такое время? что такое причина? и т.д. И перед нами выстраиваются какие-то понятийные, интеллектуальные сущности, одетые в языковую оболочку. И мы начинаем их комбинировать... В действительности на вопрос, что такое субстанция, ответа просто нет.

Ибо все ответы уже существуют в самом языке. Я хочу сказать, что в языке существует некоторое потенциальное вербальное присутствие философской мысли. И незаметно для себя, мы оказываемся в плену этой вербальной реальности» [8:16]. Эта мысль философа о вербальной картине мира коррелирует с поэтической строкой Б. Пастернака: «И образ мира в слове явленный» и с концепцией В. Гумбольдта – А.А. Потебни о внутренней форме слова как предметно-понятийно-ассоциативном механизме познания мира.

Одним из мистических свойств метаязыка или языка в научном дискурсе есть его многоликость, мысль как бы должна прожить много жизней, ее предназначение – не угасать, а возрождаться в новом выражении. В смене парадигм гуманитарного знания происходит как бы конкуренция метаязыков.

Отслоение языка от действительности (по М.К. Мамардашвили) или асимметрия между означающим и означаемым проявляется в разнообразных формах художественного словесного творчества и по-разному определяется в полутерминах – полуобразах, как это принято в гуманитарном знании. Причем, можно говорить о том, что это явление не свойство индивидуальности, но общеязыковая черта, поскольку в современной гуманитарной науке распространена мысль, «что язык вне зависимости от сферы своего применения неизбежно художественен, т.е. всегда функционирует по законам риторики и метафоры, а из этого следует, что мышление человека как такового – в принципе художественно, и любое научное знание существует не в виде строго логического изложения – исследования своего предмета, а в виде полу- или целиком художественного произведения, художественность которого просто раньше не ощущалась и не осознавалась, но которая только одна и придает законченность знанию» [4:4]. Очевидно, имеется в виду поэзия мысли как гибкость смысла, размыкающаяся в понимание. Наверное, можно говорить

о связи такого понимания художественности с принципом «поэтического мышления», который лежит в основе «постмодернистской чувствительности с ее тезисом о неизбежной художественности, поэтичности всякого мышления, в том числе и теоретического (философского, литературоведческого, искусствоведческого и даже научно-естественного), но в рамках собственно литературоведческого постструктурализма – со ссылкой на авторитет Ницше, Хайдеггера и Дерриды – этот «постулат» послужил теоретическим обоснованием нового вида критики, в которой философские и литературоведческие проблемы рассматриваются как неразрывно спаянные, скрепленные друг с другом метафизической природой языка» [4:22].

Очевидно, такое понимание художественности связано с теорией «эстетической бесконечности» Поля Валери.

Эстетическая бесконечность (по П. Валери) – принцип порождения творческого восприятия, творческого состояния, при котором возможно творческое состояние усвоения и трансформации в нашем сознании действительности с эффектом не иссякаемой, а продуцируемой потребности новых ощущений [3:89–91].

Интересно, что вне связи с герменевтическими идеями П. Валери об эстетической бесконечности, бесконечных превращениях и чувственном резонансе в другой парадигме знания писал об этом феномене восприятия поэтического текста, используя даже те же термины, как о парадоксе поэзии и теории информации Г. Секей, вспоминая слова А. Ренье: «... одна строка стихотворения содержит значительно больше «информации», чем очень короткая телеграмма такой же длины».

Удивительное богатство значений в литературных трудах, кажется, противоречит законам теории информации. Ключом к этому парадоксу, я думаю, является понятие «резонанса». Писатель не только сообщает нам информацию, но играет на струнах языка с таким мастерством, что разум и даже само подсознание резонируют. Поэт с помощью удачного слова может вызвать цепочку идей, эмоций и воспоминаний. В этом смысле труд писателя – волшебство» [9:213].

Понятие «чувственного резонанса» и «бесконечных превращений» поддерживаются художественными свойствами языка, генетически заложенными в нем в виде метафоричности и риторичности. Приведем также в этой связи размышления А. Эфроса: «Валери – большой писатель и рядовой мыслитель. Его чувствительность к оттенкам слов изумительна, и столь же изумительна его непроницаемость к новизне идеи... Чтобы ценить Валери, нужно, чтобы акт чтения был сильнее акта осмысливания» [10:27].

Отслоение языка от действительности, увиденное М.К. Мамардашвили в общественно-политической лексике советского периода, происходит и в художественной речи, особенно в поэзии в процессе фетишизации слова как слова, самодостаточного феномена и генерирует эстетический эффект, поглощающий автора и одновременно обращенный в восприятие. Интересно поэтическое осмысление этого феномена А. Ахматовой в стихотворении «Творчество», где

слово предстает как связь двух миров: мира поэтической реальности и реальности общечеловеческого бытия.

Очевидно, и понимание в поэтическом тексте происходит на уровне слова, а не содержания, которое как бы зашифровано, а ключ от шифра у автора. Читатель же допускается только на уровень словесный, который сам по себе ничего не говорит о том содержании, которое вроде бы передает. Это особого рода отслоение действительности от языка. Слово создает свой текст, свой смысл, «отлученное» от реального «жизненного» и авторского содержания, оно живет самостоятельной жизнью. Понимание происходит на уровне общего настроения, общего смысла отдельных фраз, микросюжетов, интерпретации слов-образов в ореоле своих ассоциативных полей.

А таинство названия в поэзии как таинство постижения и выражения смысла смыкается с исконной природой духовного мифологического сознания в его связи с языком [5:34–35].

Семиологические и литературоведческие концепции Р. Барта строятся на проблеме взаимосвязи автора и данного ему языка как пантеизированного феномена. Ему представляется драматичным конфликт между языком как свойством самовыражения и природностью слова, существующей исконно, до субъекта творящего и являющейся не только возможностью «я», но и возможностью «другого». Все слова – это слова «оговоренные», слова для «других».

«Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом о предмете. Конкретному историческому человеческому слову этого не дано... [2:92].

Поскольку мы пребываем в «вербальной реальности» (М.К. Мамардашвили), то, «пользуясь языком, мы обречены как бы «разгрызывать» собственные эмоции на языковой сцене: в известном смысле можно сказать, что не мы пользуемся языком, а язык пользуется нами, подчиняя какому-то таинственному но властному сценарию. «Тайна», впрочем, давно раскрыта и заключается она в том, что никакая непосредственность посредством языка невозможна в принципе потому, что по самой своей природе язык всегда играет опосредующую роль: он вообще не способен «выражать чего бы то ни было» («выразить» боль или радость можно только инстинктивным криком или, на худой конец, междометием), он способен только называть, именовать. Специфика же языковой номинации в том, что любой индивидуальный предмет (вещь, мысль, эмоция) подводится под общие категории, а последние вообще не умеют улавливать и удерживать «интимное», «неповторимое» и т.п. Будучи названа, любая реальность превращается в знак этой реальности: в условную этикетку, под которую подходят все явления данного ряда: номинация не «выражает», а как бы «изображает» свой предмет.

Язык, таким образом, выполняет двойственную функцию: с одной стороны, среди всех семиотических систем он является наиболее развитым средством общения, контакта с «другим»; только язык дает индивиду полноценную возможность объективизировать свою субъективность и сообщить о ней своим

партнерам по коммуникации; с другой стороны, язык предшествует индивиду, преднаходится им; до и независимо от индивида он уже определенным образом организует, классифицирует действительность и предлагает нам готовые формы, в которые с неизбежностью отливается всякая субъективность.

Парадоксальным образом, не вынеся одиночества и решившись «доверить другим» свои «мысли и чувства», мы тем самым отдаем себя «во власть системы языковых «общих мест», «топосов» — начиная микротопосами фонетического или лексического порядка и кончая так называемыми «типами дискурса» [6:25–26].

Многие нетривиальные лингво-философские концепции, обращенные к исконным свойствам человеческого духа и пангеистическим особенностям слова, которые определяют и его природу, и особенности его функционирования, растворены не только в специальных исследованиях, но и в работах, принадлежащих широкой парадигме гуманитарного знания.

Лингво-философское осмысление мистических свойств слова имеет одновременно и дискретный характер — каждая концепция представляет нетривиальную природу человеческого откровения, — и континуальный характер, так как открывает бесконечность возможностей человеческого гения в таких откровениях.

Литература

1. Ахматова А.А. Стихотворения. Переводы. Ереван, 1989. 2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1979. 3. Валери П. Эстетическая бесконечность // Об искусстве. М., 1993. 4. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 5. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990. 6. Косиков Г.К. Ролан Барт — семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 7. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1988. 8. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике. М., 1990. 9. Эфрос А. Поль Валери // Валери П. Избранное. М., 1936.

А.В. Демуцкая

Роль предметного мира как определяющий фактор при портретировании человека

В настоящее время на новом этапе развития науки наблюдается возврат гумбольдтовской антропоцентрической лингвистики. В этой связи приобретает все большую важность роль чувственной системы познания в лингвистике. Человеческое сознание неотъемлемо от его чувственной системы. Наши восприятия — это всегда в известной мере эталон, стереотип. Человек воспринимает мир через призму собственных чувств и представлений, через призму веками сложившихся традиций. Поэтому предметный мир, постоянно окружающий человека, находит непосредственное отражение в сознании и языке — в разнообразных образных метафорах и сравнениях. Наиболее широко в языке представлена группа метафор на основе образов животных. Это связано с тем,

что в человеческой деятельности животный мир играет существенную роль. Домашние животные составляют тесный круг общения человека, он имеет возможность наблюдать образ жизни, особенности поведения отдельных животных в непосредственном контакте. Поэтому человек зачастую наделяет представителей животного мира сверхъестественными свойствами "... главную роль в формировании стереотипов играет частота встречаемости определенных объектов, явлений в жизни людей, нередко выражающаяся в более продолжительных человеческих контактах именно с данными объектами по сравнению с другими, что и приводит к стереотипизации подобных объектов" [12:11]. Как отмечает К.М. Гулумянц, человек наделяет домашних животных – своих же главных помощников, в первую очередь отрицательными качествами [7:130]. Это свойственно и оценкам человека. "Общая семантическая асимметрия фразеологической системы (сдвиг в сторону отрицательных значений) может быть объяснена более острой и дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией людей именно на отрицательные явления..." [10:62]: *bull-headed* – упрямый; *hare-brained* – опрометчивый, неосторожный (ср. рус. *трусливый как заяц*); *pig-headed* – тупой; *as greedy as a wolf* – жадный.

Любая реалья имеет множество признаков, и в разных языках при метафоризации на первый план нередко выдвигаются неодинаковые из них. "... действие эталонного механизма оценки впечатлений настолько тесно переплетается с практикой в широком смысле, природными, климатическими условиями, культурой, языком и т.д., что полностью исключает существование у человека "чистой чувственности" [13:23]. Обыденное сознание непосредственно наблюдает животных и примеряет им свои жизненные сценарии – так, соловей поет не от радости (ср. *заливается, как соловей*), а по необходимости. Также значительную роль при восприятии играет культура – мифы и сказки, традиционно распространенные на данной территории. Таким образом в русских представлениях, основанных на непосредственном наблюдении, свинья получает признак неаккуратности (ср. *грязный, как свинья*), а в английской картине мира, построенной от символической вселенной – качество глупости (*pig-headed* – тупой). "В обыденной или наивной картине мира "способ восприятия" имеет приоритет перед действительным положением вещей" [1:61]. Например, слон в русском языке служит эталоном неуклюжести. Это, видимо, связано с тем, что мы наблюдаем слона в основном в зоопарке, в тесной клетке, где он действительно кажется неповоротливым. Народы, использующие слона в своей практической деятельности, приписывают ему совсем иные свойства. Человеческое сознание фиксирует наиболее часто встречающийся объект, наиболее длительную фазу цикличности, наиболее распространенную разновидность существования [12:5]: *as red as a lobster* – *красный как рак*.

Человеческое сознание в первую очередь запечатлевает раков в приготовленном для еды виде. Как известно, в природе раки не имеют красного цвета. Кроме того, омары для жителя нашей страны – гораздо более экзотическое

блодо, чем раки, поэтому в качестве эталона русский язык выбирает именно рака.

С другой стороны человеческое сознание “случайно” избирательно. Почему английский язык приписывает петуху качества самоуверенности, а русский – драчливости: *cocksure* – самоуверенный (ср. рус. *надутый индюк*); *sheep* – робкий, застенчивый человек (ср. рус. – *покорный как овца*); *cow-baby* – трусиха, “заяц”.

Вышеприведенные примеры выявляют отличия в образных языковых картинах мира, где зачастую одно и то же животное – эталон наделяется совершенно несхожими свойствами.

Эту избирательность трудно объяснить: она даже не всегда связана с тем, насколько часто встречается то или иное животное в обыденной жизни данного народа. К примеру, бегемот и носорог одинаково экзотичны для жителей Англии и России. В русском языке *бегемот* имеет метафорическое переосмысление (неуклюжий, толстый человек), а носорог – нет. В английском же, наоборот, *rhinoceros* метафорически обозначает толстого, неповоротливого человека, а *hippopotamus* общеупотребительного переносного значения не имеет (ср. *as cheerful as a lark* – веселый, *tiger* – жестокий, коварный человек).

Фактор “внеаходимости” по М. Бахтину позволяет особенно отчетливо обнаружить условность языковой образной картины в тех случаях, когда данный образ в одной культуре, в отличие от другой, вообще не используется как эталон определенного свойства или используется, но с диаметрально противоположным эмоциональным ореолом [2:400].

По нашим наблюдениям метафорический перенос через сравнение с предметным миром в большей степени свойственен английскому языку. Это в очередной раз говорит о большем удельном весе метафор в английском языке: *hatchet-faced* – остролицый; *pinhead* – дурак; *pinheaded* – (разг.) безмозглый, глупый; *po-faced* – надменный, презрительный; *bottle-nosed* – толстоносый.

С помощью разного рода метафор и сравнений человеческое сознание делает попытку прочтения во внешне проявляющихся признаках психофизических, психоэмоциональных, интеллектуальных свойств и качеств личности. Определенными деталями внешности приписываются признаки, связанные с проявлением характера, волеизъявления, поведения, привычек человека – всего того, что характеризует его психоэмоциональную деятельность, интеллектуальные способности. Условность предписания отдельным “деталям” внешности внутренних качеств и свойств отмечалась неоднократно, но тем не менее в силу эстетической типизации и культурных традиций формирования образа на основе принципа среднестатистической встречаемости эта особенность имеет место. В данном случае морально-этические критерии или критерии, характеризующие умственные способности, соотносятся с эстетическими. Эта соотнесенность и определяет характер оценки. Таковы, например, положительные оценки: благородный лоб, седины; высокий, открытый лоб, и отрицательные: низкий лоб, низколобый, толстые губы, узкогубый, хищный нос и т.п. [3:16]: *low-browed* – малообразованный, невысокого интеллектуального уровня;

broad-brow – (разг.) простой, бесхитростный человек, человек широких взглядов; *deep browed* – очень умный; *long-headed* – проницательный.

Интересно, что в русском языке подобные образы не закрепляются в устойчивых выражениях, хотя в общей оценке человека они присутствуют (исключение составляет калька с англ. *яйцеголовые*).

При анализе систем цветообозначений в русском и французском языках, В.Г. Гак приходит к выводу о том, что французскому языку и речи в большей степени свойственны метафоризация при названии цветов, т.е. связь данного цвета с определенными предметами. Именно это обстоятельство, по его мнению, способствует тому, что метафоры во французском языке быстро стираются, в то время как в русском их образность ощущается сильнее [5:227].

Вероятно, эти выводы действительно и при сравнении английского и русского языков. Так, при встрече с метафорическим обозначением цвета в английском языке переводчик, учитывая расхождения в речевых нормах двух языков, обычно заменяют это обозначение основными цветами или их оттенками: *carrot* – рыжие волосы; *strawberry blonde* – рыжеватая блондинка; *cream-faced* – бледный от страха.

В английском языке цветовая символика, закрепленная в полисемии и фразеологии, развита в гораздо большей степени, чем в русском. В некоторых случаях английский язык использует совершенно иные модели (цвет+часть тела): *blue-eyed boy* – (ирон.) любимчик; *green-eyed* – ревнивый, завистливый (ср. рус. зеленые, русалочьи глаза); *white-haired boy* – любимец.

Отсутствие "чистой чувственности" подтверждается и на противопоставлении белого – черного в цветовых метафорах, свойственного для жителей европейского ареала. Так, например, в засушливой части Австралии хорошим небом считается грозное черное небо, которое обещает дождь; ту же значимость, по данным В. Тэрнера, для понов Южной Африки имеет черный цвет, символизируя дождевые тучи, возвещающие наступление влажного сезона [13:129].

В этом отношении интересны данные, эмпирическим путем собранные А.А. Залевской. По ее исследованиям, белый цвет у американцев, немцев и французов оказался связанным с представлениями о чистоте, невинности, больнице, ангелах. Желтый цвет у немцев увязывается с ненавистью, завистью, фальшью, у немцев и французов – с изменой и ревностью, у американцев – с трусостью. Красный цвет напоминает американцам и французам о гневе, немцам и французам – о любви, страсти. Синий для американцев и французов связан с надеждой, для немцев – с верностью [8:127].

Цивилизация делает народы схожими, культуры несут в себе их различия – в этом, по мнению Г.Д. Гачева, с одной стороны, заключается возможность взаимопонимания, с другой – красота разнообразия. На наш взгляд, прекрасной иллюстрацией этого тезиса может служить словосочетание *голубые глаза*. В славянском фольклоре голубые глаза – это признак чистоты, красоты, добра. Но арабами голубой цвет глаз считается признаком дурного человека, это

признак коварства и обмана. По-видимому, такая оценка ориентирована на свою привычную, а потому положительно оцениваемую картину мира: у славян более распространены голубые глаза, а у арабов – черные.

В этом плане интересны такие английские выражения: *white – haired boy* – любимчик; *blue – eyed boy* – любимчик; *black – browed* – 1. чернобровый, 2. хмурый (ср. высшую степень эстетической оценки прилагательного *чорнобровий* в украинском языке).

Как указывает А.И. Веселовский, предпочтение русого и золотистого цвета всем остальным вызвано особенностями не столько этнического характера, насколько “... историко-культурного свойства, наследие, отчасти, римского вкуса” [4:61].

Таким образом, на языковую картину мира влияют следующие факторы – эмпирическая картина мира и символическая вселенная, обыденное и научное осознание мира.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. М.: Всесоюз. ин-т науч.-тех. информ., 1986. Вып.28.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3. Богуславский В.М. Типология значений образных средств выражения оценки внешности человека: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1995.
4. Веселовский А.И. Историческая поэзия. М., 1989.
5. Гак В.Г. Беседы о французском слове. М., 1966.
6. Гачев Г.Д. О национальных картинах мира // Народы Азии и Африки. 1967. № 1.
7. Гулумянц К.М. Структура, семантика и употребление устойчивых сравнений польского языка: Дис. канд. филол. наук. Самарканд, 1967.
8. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование. Воронеж, 1990.
9. Избранные сказки, рассказы и повести из “Тысячи и одной ночи” / Прим. И.Ф. Фильшпгинского. М.: Правда.
10. Рахитейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии М., 1980.
11. Сукаленко Н.И. Двухязычные словари и вопросы перевода. Х., 1976.
12. Сукаленко Н.И. Образная языковая картина как отражение эмпирического обыденного сознания: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Х., 1991.
13. Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. К., 1992.

С.П. Довбах

Смысл:

синтаксис и семантика прототипических контекстов

Эта статья продолжает (дополняет) наше исследование [4], посвященное концептам “эйдетической” сферы русской языковой “картины мира”. Общим термином “эйдетические” (от филос. *эйдос* ‘смысл, сущность’) мы обозначаем концепты, которые можно подвести под категорию “смысла” (в широком смысле слова).

Это, прежде всего, собственно ‘смысл’, а также ‘значение’ и ‘суть/сущность’. Основным средством эксплицитного (лексемного) выражения указанных концептов являются соответствующие имена существительные

современного русского языка – “эйдетические имена” (*смысл, значение* и т.д.) в их первичных, “тривиальных” контекстах употребления.

Неотъемлемое свойство эйдетических объектов – их связь с “материальными”, чувственно воспринимаемыми “явлениями”: “смысл” – это всегда “смысл” **чего-либо**; любой “смысл” обязательно имеет своего “носителя” – некоторое “явление”, “выражающее” этот “смысл”. На уровне языковой семантики это проявляется как жесткая (“комплетивная”) связь эйдетических и “феноменологических” концептов в концептуальной структуре “смысл” X + “явление” Y. Формально: хотя эйдетические имена не принадлежат к разряду предикатных (признаковых) слов русского языка, они имеют обязательную семантическую (и синтаксическую) валентность, которая (в конкретном высказывании) должна быть заполнена языковым обозначением “носителя” “смысла”. В прототипических, “тривиальных” контекстах семантика комплетива Y “согласуется” с основным (“внутрисистемным”) значением эйдетического имени и конкретизирует его; не последнюю роль в процессе конкретизации играет и тип синтаксической конструкции, в которой используется лексема с “эйдетическим” значением.

Сказанное в полной мере (и прежде всего) относится к функционированию существительного *смысл* в современном русском языке. В настоящей работе мы ограничимся рассмотрением прототипического значения этого имени – собственно ‘смысл’. Указанное значение реализуется в контекстах, где комплетив обозначает контролируемые субъектом “ситуации”, прежде всего – целенаправленные действия человека и в том числе – речевые (шире – коммуникативные) акты: (1) *Румата буквально слышал, как трещат их [бандитов] тупые, примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка* (А. и Б. Стругацкие, *Трудно быть богом*). В плане выражения, т.е. на “поверхностно-синтаксическом” уровне, прототипические контексты неоднородны. Их ядро образуют два больших класса синтаксических конструкций – (А) и (Б), причем каждый из них репрезентирует отдельное (“самостоятельное”) “подзначение” концепта ‘смысл’.

Синтаксический класс (А) составляют конструкции вида *смысл* Y-а, где компонент Y – именная группа, в вершине которой находится субстантивное дополнение в форме родительного падежа: (2) *Он не любезничал со служанкой и никого не посвящал в смысл своих городских поездок* (А. Грин, *Дорога никуда*); (3) *Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на Земле синим быком (шкуру большого животного он хотел примерить на себя!)* (В. Орлов, *Альтист Данилов*); см. также (1). Контексты класса (А) можно назвать “собственно комплетивными” – в них обязательная связь концептов ‘смысл’ и ‘действие’ непосредственно выражается отношением синтаксической комплетивности между соответствующими компонентами “поверхностной” структуры высказывания. По своей синтаксической семантике эти комплетивные словосочетания синонимичны конструкциям, выражающим отношения “посессивности” (в широком смысле, включая

партиитивность, т.е. отношение “часть–целое”): *машина_х генералаУ, жена_х братаУ, роман_х ТургеневаУ*, а также *обложка_х книгиУ, ножка_х столаУ* и т.п. Во всех случаях такого рода “поссесивность” является **презумпцией**; ассертивный характер она имеет в более сложных, “развернутых” конструкциях, где компоненты *Х* и *У* соединяются через глагол-“связку” типа *иметь*. Например: *У генерала_х есть машина_х – Генерал_У имеет машину_х – Эта машина_х принадлежит генералу_У* (о коммуникативно-синтаксических и сочетаемостных особенностях выделенных лексем см. [6:159–163]).

Предикативные конструкции с глаголом-“связкой” (*быть* или *иметь*, но не *принадлежать*!) составляют второй синтаксический класс контекстов имени *смысл* – **класс (Б)**. Помимо конструктивно-синтаксических и коммуникативных особенностей имеется еще целый ряд формальных и семантических различий, противопоставляющих эти контексты комплетивным словосочетаниям класса (А). Так, например, в конструкциях вида **(Б1)** *У имеет смысл* (или *У не имеет смысла*) компонент *У*, обозначающий некоторое действие, допускает не только субстантивное, но и **инфинитивное** выражение (второе даже чаще, поскольку образование отпредикатных существительных не всегда возможно, а их использование зачастую стилистически маркировано): (4) *Мы тщательно обследовали весь остров, но никаких следов пропавшей экспедиции не обнаружили. Дальнейшее пребываниеУ не имело смысла_х / Дальше оставатьсяУ не имело смысла_х*. В “экзистенциальных” высказываниях вида **(Б2)** *Есть / был смысл делать У* (или *Нет / не было смысла делать У*) инфинитивное выражение компонента *У* является единственно возможным. Ср.: (5) *Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Anne Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать: оставалось минут пятнадцать, и она еще успевала за свой перерыв* (А. Солженицын, Как жаль).

Основное содержательное различие синтаксических контекстов (А) и (Б) – различие в семантике самого слова *смысл*. В “собственно комплетивных” словосочетаниях класса (А) ‘смысл’ сближается с концептом *цели*, поэтому высказывание (2) можно свободно перифразировать как (2¹)...*никому не говорил о цели своих городских поездок* или как (2¹)...*никому не говорил, с какой целью/зачем/для чего он ездит в город*. В свою очередь, “цель” действия (как некий интенциональный объект, “чистое” содержание **намерения**) – это мысленный образ (“представление”) **желаемого** “положения вещей”, которое, по мнению субъекта, будет непосредственным результатом или следствием данного действия (см. [3:119–121]; ср. также [2:21]). В “поссесивно-экзистенциальных” высказываниях класса (Б) речь идет не о конкретной “цели” действия, а об “осмысленности” (или “бессмысленности”) некоторого действия в сложившейся ситуации, о его “рациональности” и/или “целесообразности” (в целом, вообще). В такого рода конструкциях *смысл* можно (приблизительно) истолковать как “**разумное основание**” действия, что сближает эту лексему с существительным **резон** (от фр. *raison* в том же значении). Ср.: (6) [*Генерал (царю):*] *Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В общем, дело*

принимает Социальный оборот! - - Охранять тебя от бед Мне теперь резону нет! Ты за собственную подлость Сам должен держать ответ!.. (Л. Филатов, Про Федота-стрельца...) ≈ (6') ...охранять тебя от бед мне теперь нет **смысла**; (7) Он все время опасался, что их слова кому-то слышны, хотя и полагал, что Кармадону нет **резона** иметь свидетелей их беседы, и, наверное, он выбрал место действительно укромное и потайное (В. Орлов, Альтист Данилов) ≈ (7') ...Кармадону нет **смысла** иметь свидетелей их беседы... "Основания" ("резоны") действия бывают двух видов – с одной стороны, α) "внесубъектные" **обстоятельства** ("положения вещей"), оцениваемые говорящим и/или действующим субъектом как наиболее "благоприятные" или "неблагоприятные" для реализации предполагаемого действия – как способствующие или препятствующие такому осуществлению; с другой стороны, β) "интрасубъектные" **мотивы** деятельности – осознаваемые(!) самим субъектом наиболее значимые (приоритетные) потребности и желания, удовлетворить которые способно данное действие. В "поверхностной" структуре высказываний первые, т.е. "основания" группы (α), выражаются / эксплицируются с помощью отдельных пропозитивных конструкций, находящихся в препозиции – см. пример (4) – или в постпозиции – см. (5) – относительно "посессивной" или "экзистенциальной" конструкции со словом *смысл*; вторые, т.е. "основания" группы (β), просто маркируются дополнительным конструктивным элементом (в форме дательного падежа), обозначающим субъекта действия, – как в примерах (6) и (7). Концептуальным признаком, объединяющим (α) и (β), является их "функциональная общность" – то особое место, которое занимает представление о них в структуре принятия решений: "смысл-резон", составляя важный аспект "второй посылки" "практического силлогизма" (см. [3:127–138]), определяет окончательный выбор человека и (как следствие) его конкретные действия (или "бездействия"), тем самым приобретая статус "субъективной причины" [2:15–16] (ср. оппозицию понятий 'reason' и 'cause' в английском языке – [5:147]).

Помимо указанной семантической оппозиции двух "подзначений" имени *смысл* ("цель" vs. "резон") контексты (А) и (Б) различаются также модальностью подчиненного компонента *У*. В конструкциях класса (А) *У* всегда обозначает **реальное** "положение дел", отнесенное в план настоящего или прошлого (относительно момента модальной квалификации). Эта (экзистенциальная) презумпция согласуется с общей презумптивностью отношения между компонентами "собственно комплетивного" словосочетания, имплицитруется ею. В контекстах класса (Б) *У* обозначает не воспринятое субъектом конкретное действие, а некоторую "модель" действия, поэтому модально-темпоральная характеристика пропозиции '*У*' оказывается в данном случае несущественной (в семантическом плане – **неопределенной**, немаркированной). В высказываниях типа (4)–(7) речь идет об "осмысленности" ("рациональности") некоторого действия "**в принципе**" – независимо от того, к какому "миру" ("действительному" или "возможному") относится представляемая ситуация в целом. В то же время реальная речевая (и мысли-

тельная) практика носителей русского языка накладывает свои прагматические ограничения и коммуникативные импликатуры.

Во-первых, оценка и выбор альтернатив **предшествует** некоторому действию [5:145–146; 2:19], поэтому в конструкции класса (Б) действие *У* прагматически(!) квалифицируется как “будущее” и (пока еще) “нереальное” (относительно акта утверждения / отрицания ‘смысла’). См. (5), а также (8) *Кэнси однажды высказал совершенно здоровое предположение, что Красное Здание - - - является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла - Эксперимент есть Эксперимент* (А. и Б. Стругацкие, Град обреченный). В примере (8) говорится о ситуации поисков объяснения феномену Красного Здания, и хотя такие поиски имели место и в прошлом, высказывание в целом осмысливается как сообщение о том, что субъект (Кэнси) ставит под сомнение необходимость подобных поисков именно в будущем.

Во-вторых, сделав тот или иной выбор, приняв конкретное решение, человек (если он сохраняет свое намерение и ему ничего не мешает) **осуществляет** выбранное действие. В соответствии с этим в высказываниях о наличии / отсутствии (в прошлом!) определенного ‘смысла’ возникает особого рода импликатура: утверждение (resp. отрицание) ‘смысла’ имплицитно подразумевает реальность (resp. ирреальность) соответствующего ‘действия’; см. примеры (4)–(6). Ситуации, о которых можно сказать, что *был смысл делать У, но N не сделал этого* (или наоборот – *не было смысла делать У, но N это сделал*), чрезвычайно редки и по большей части аномальны (с точки зрения “здорового смысла”), что, кстати, маркируется использованием союза *но*.

Завершая рассмотрение прототипических контекстов лексемы *смысл*, подчеркнем один важный момент. “Эйдетические” концепты русской языковой “картины мира” (в том числе и ‘смысл’) находятся на высшей ступени абстракции, они являются “семантически примитивными”, а это значит, что мы не можем адекватным(!) образом **истолковать** их с помощью других слов “обыденного” языка (как того требуют, к примеру, теоретические установки Московской семантической школы) – мы лишь можем назвать их “не-эйдетические” **соответствия**, принадлежащие иной (“ментальной”) концептосфере современного русского языка. Мы определяем семантику имени *смысл* через концепты ‘цель’ и ‘резон’, однако это лишь **намек** на действительное смысловое содержание данной лексемы. Как бы ни были близки указанные концепты к прототипическим значениям ‘смысл_(А)’ и ‘смысл_(Б)’, между теми и другими пролегает тонкая, но вполне опутимая граница, отделяющая “эпистемологическую” и “онтологическую” “метасферы” “картины мира”. Используя метафорическое выражение Н.Д. Арутюновой, можно сказать, что сфера “онтологии” “объединяет всё то, что составляет среду погружения человека в мир”, а сфера “эпистемологии” – “то, что есть результат погружения мира в сознание человека” [1:103]. Основные “эпистемологические” концепты (понятия категории “мысль”) обозначают интенциональные объекты, возникающие и “бытийствующие” в сознании конкретного индивида, поэтому (применительно

к теме нашей статьи) допустимо говорить: (9) *Делая общее дело, каждый из них имел [= преследовал] свою цель*; (10) *У него свои резоны [≈ причины, основания, мотивы] так поступать*. Приписывание ‘цели’ или ‘(разумного) основания’ самому действию в качестве его “атрибута” (“внутреннего аспекта”) – это всего лишь “метафора”, хотя и ставшая достаточно распространенной (“стертой”, узуальной), это результат “объективизации” соответствующих ментальных объектов. Напротив, ‘смысл’ того или иного действия У рассматривается носителями русского языка как нечто изначально(!) “объективное”, не зависящее от ментального мира действующего и/или познающего субъекта, как нечто “внеположенное” ему; ср. аномальность словосочетаний типа **мой / его / наш смысл делать У*. Прототипические “смыслы” принадлежат особому (“объективно-идеальному”, “эйдетическому”) уровню бытия, противопоставленному к миру “явлений”, к миру “мыслей”.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988. 341 с.
2. Арутюнова Н.Д. Язык цели // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 14–23.
3. Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования: Избр. тр.: Пер. с англ. М., 1986. 600 с.
4. Довбах С.П. Эйдетическая сфера русского языка: категориальная основа и синтагматика юнцептов // Вісник Харківського університету. Міф і міфопоетика у традиційних та сучасних формах культурно-мовної свідомості. №448. Харків, 1999. С. 344–352.
5. Фаллесдаль Д. Понимание и рациональность // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 18. Логический анализ естественного языка. М., 1986. С. 139–159.
6. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нерелевантные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). М., 1996. 400 с.

О.О. Дудка

Наголос у системі правил українського правопису

Сучасний український правопис ґрунтується на різних чинниках, важлива роль серед яких належить наголосові. Це пояснюється, зокрема, особливим значенням для нашої орфографії фонетичного принципу, що вимагає написання відповідно до вимови.

Посилання на наголос маємо насамперед у розділі «Правопис основ слова», де розглядаються літерні позначення голосних звуків. Так, правила стосовно ненаголошених *о, е, и* визначають написання тих самих літер, що й під наголосом (*розумний, бо розум; робіть, бо робить; боїться, бо боязко; великий, бо велич; держу, бо одержати; криве, бо криво; широкій, бо широк*). У словах із постійним наголосом правопис рекомендує перевіряти невизначений звук за словником: *левада, леміш, кишеня, минулий*. З наголосом пов'язане також правило про написання *а* в ряді слів перед складом із постійно наголошеним *а*: *багатий, гарячий; гарязд, качан, хазяїн* та ін. Звернімо увагу й на рекомендацію можливості перевірки наголосом ненаголошеного *и* в групах *-ри-, -ли-, кришити (кріхта); блищати (бліскавка), тримати (стрімувати)*.

Інше правило визначає написання в окремих словах не під наголосом груп -рі-лі- (*дрімати, тріщати, злімати* та ін.) відповідно до вимови.

Значна кількість відхилень у чергуванні *о, е з і* в основі слів пояснюється зміною наголосу. Так, у групах -оро-, -оло-, -ере- *о, е* переходять в *і* у родовому відмінку множини іменників жіночого роду здебільшого з рухомих наголосом (*борода – борід, чередá – черід, сторона – сторін*) і зберігаються в закритому складі у повноголоссях -оро-, -оло- зі сталим наголосом (*кало́да – коло́д, доло́ня – доло́нь*). Голосний *і* в закритому складі виступає у формах чоловічого роду однини дієслів минулого часу й дієприслівників з повноголоссям, якщо відповідні форми жіночого та середнього роду однини й форма множини мають наголос на кінцевому складі: *воли́к, воли́киш (волокти́), збері́г, збері́киш (зберегти́), бо: волокля́, зберегла́; волокло́, зберегло́*.

Із позицією наголосу у слові пов'язується також написання *е* або *і* у віддієслівних іменниках середнього роду на -ння, а саме: *і* звичайно буває лише під наголосом (*ході́ння, носі́ння, варі́ння*), а без наголосу -*є* (*вра́ження, збі́льшення, значе́ння, ва́рення* [у значенні процесу]). Наголос є основним чинником, на якому ґрунтується інше правило розділу "Правопис основи слова", яке вказує на відсутність чергування *о з і* у закритому складі у наголошених словотвірних частинах -вод-, -воз-, -нос-, -роб- складних слів, що означають людей за родом діяльності, та в похідних утвореннях: *ділово́д, водово́з, дровоно́с, хліборо́б, хліборобство*. У назвах предметів та в похідних утвореннях *о* здебільшого зберігається у словах із наголошеним складником – воз-: *теплово́з, лісово́з*.

З місцем наголосу у слові правопис пов'язує чергування *е з і* у дієсловах із суфісмом -ува- (-юва-): *е* чергується з *і*, коли наголос падає на кореневий *і* (*брехати́ – набрі́хувати, чекати́ – очікувати́*).

До наголосу відсилає правопис у розділі "Правопис суфіксів" (зокрема у підрозділі "Прикметникові та дієприкметникові суфікси"). Правило вимагає відрізнити наголошені прикметникові суфікси -енн(ий), -анн(ий), що вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки (пишуться з двома *н*), від прикметникових суфіксів -ен(ий), -н(ий), у яких немає подвоєння *н* (пор.: *несказáнний – нескáзаний, нескінчéнний – нескінче́ний*). Наголос також є визначальним при написанні прикметників з суфіксами -ев-, -єв-, -ов-.

Так, суфікси -ев-, -єв- уживаються у прикметниках, які мають перед суфіксом шиплячий, м'який або *й* і в яких наголос падає переважно на основу слова (*груше́вий, овоче́вий, сітцєвий, діе́вий, життє́вий*). Якщо ж в аналогічній позиції наголос падає на закінчення, то у прикметнику пишеться суфікс -ов- (*грошови́й, дощови́й, стильови́й, життєво́вий, дієво́вий*).

Правопис деяких інших суфіксів також обґрунтовується позицією наголосу в слові. Наприклад, суфікс -оват/ий пишеться у прикметниках з наголошеним *о*: *плискóватий*; суфікс -ува-(-юва-) у віддієслівних іменниках та дієприкметниках – коли наголос не падає на перший голосний цього суфікса (*очікува́ння, очікува́ний; підси́нювання, підси́нюваний*), а суфікс -ова- – якщо наголошеним є перший голосний цього суфікса (*мальо́ваний, ришто́ваний, ришто́вання*).

У розділі “Правопис закінчень відмінюваних слів” (зокрема у підрозділі “Іменник”) на позиції наголосу у слові базуються правила, що визначають поділ на групи іменників чоловічого роду II відміни на -ар(-яр), -ир. Так, до твердої групи правопис відносить іменники з постійно наголошеними -ар(-яр), -ир (*гекта́р, ювіля́р, пасажир*); до м'якої – іменники із суфіксом -ар, -ир, що в однині мають наголос на корені (*бо́ндар – бо́ндаря, ко́зир – ко́зиря*), та іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення (*друка́р – друкаря́, провади́р – провади́ря*); до мішаної групи належать іменники на -яр (назви людей за родом їх діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення (*ву́гляр – ву́глярá, школя́р – школяра́*). Згадку про наголос зустрічаємо і в правилах написання окремих відмінкових форм іменників. Так, у родовому відмінку однини деяких іменників чоловічого роду II відміни маємо паралельні закінчення -у або -а залежно від наголосу у слові (*мо́сту – моста́, плóту – плота́, парка́ну – парка́на*). З наголосом пов'язане також написання форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду II відміни, що позначають географічні назви, крім населених пунктів: під наголосом пишемо флексію -а, у ненаголошеній позиції -у (*Ді́нця, Ірти́ша; До́ну, Сибі́ру*). Закінчення -у (-ю) в місцевому відмінку мають іменники чоловічого роду II відміни односкладових основ за умови переходу наголосу з основи на закінчення (*пор.: бо́ю – у бо́ю, сні́гу – на сні́гу, сте́ну – у сте́ну, але кро́ку – на кро́ці, лу́гу – на лу́зі*). Паралельні закінчення -і (-ї) та -у (-ю) іменників цього типу залежать від місця наголосу в слові (*у га́ї – у га́ю, у кра́ї – у кра́ю, на то́рзі – на то́рзю*).

Наголошеною або ненаголошеною позицією пояснюється ряд дієслівних граматичних форм. Так, зокрема, закінчення наказового способу -и, -ім(о), -іть звичайно бувають лише під наголосом (*бе́ри, бе́римо, бе́рять; іди́, іди́мо, іди́ть*) або в дієсловах із наголошеним префіксом ви- (*ві́мети, ві́метім(о), ві́метіть*), які без префікса мають флексивний наголос (*ме́ти, ме́тимо, ме́тять*). В інших дієсловах ненаголошений голосний у закінченнях наказового способу відсутній (*гра́й, гра́ймо, гра́йте; рі́ж, рі́жмо, рі́жте; ста́нь, ста́ньмо, ста́ньте*).

Отже, для ряду орфографічних правил наголос є визначальним. Тому дуже важливо, щоб укладачі нового правопису сучасної української мови були послідовними в обґрунтуванні наголосом певних орфографічних правил. Це сприятиме також уніфікації наголосу, усуненню зайвих дублетів, тобто таких, що не виявляють тенденції до розрізнення значення слова, а лише обтяжують, а то й зневиразнюють акцентуаційну систему, з одного боку, і спричиняють неоднозначне тлумачення певних орфографічних правил, з другого.

Деякі місця існуючого правопису з цього погляду є непослідовними і вимагають певних уточнень. Так, розглядаючи чергування голосних у дієслівних коренях, зокрема *е, і*, слід відзначити вплив наголосу на дане фонетичне явище (*ві́гребти – вигріба́ти, ві́пекти – випіка́ти*). Потребує, на нашу думку, чіткішого формулювання правило подвоєння букви *н* у прикметникових суфіксах -снн(ий), -анн(ий)[-янн(ий)], уживаних на означення збільшеності

прикмети або можливості чи неможливості дії (здоровенний, страшенний, незліченний) та у суфіксі -енн(ий) прикметників старослов'янського походження (благословенний, священний). Необхідно зафіксувати думку про обов'язкову наголошену позицію цих суфіксів.

Вимагає деяких уточнень, на наш погляд, і питання про поділ на групи іменників II відміни чоловічого роду на -ар(-яр), -ир. Існуючий підхід залишає, наприклад, слова *муляр* – *муляра*, *мáляр* – *мáляра* поза твердою групою іменників, бо суфікс -ар у них є ненаголошеним (пор. слова *ювіляр* – *ювіляра*, *футляр* – *футляра*, що належать до твердої групи). До того ж, тут доречно було б окрему увагу звернути на іменник *мáляр*, що у сучасній літературній мові має паралельне акцентування і залежно від того, з яким наголосом уживається (на корені чи на суфіксові), відповідно належить до твердої або мішаної групи, а отже, в називному відмінку множини та в орудному відмінку однини має різні закінчення: *мáляр* – *мáляри* – *мáляром*; *маляр* – *малярі* – *малярém*.

Недоречним, вважаємо, є використання без необхідних коментарів як ілюстративного матеріалу похідних одиниць, наголошення яких відрізняється від наголошення вихідного слова (*на́вскіс*, хоча *скі́сний*; *товари́ський*, хоча *товáриш*). Це лише заважатиме поширенню та засвоєнню ustalених норм наголошування слів.

Гадасмо також, що у складних і складноскорочених словах необхідно подавати два наголоси – основний і побічний, зважаючи на те, що правопис певною мірою повинен сприяти й упорядкуванню акцентуаційних норм сучасної української мови.

Література

1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. К., 1984. 160 с.
2. Головашук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. К., 1995. 192 с.
3. Орфоепічний словник / Укладач М.І.Погрібний. К., 1983. 629 с.
4. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. К.: Рад. шк., 1964. 640 с.
5. Український правопис (4-е видання, виправлене й доповнене). К., 1993. 238 с.

Е.А. Кибець

Дискурсивные слова именно и/или действительно как маркеры истинностной и этической оценок

Дискурсивные слова именно и действительно, как прагматически ориентированные и, следовательно, чуткие к контексту языковые элементы, относятся к категории недескриптивных [1:5], или, по другой терминологии, эгоцентрических слов [2:199]. Значение таких слов как бы выплетено в ситуацию речи и для своего выявления требует привлечения ключевых понятий прагматики, таких как субъект речи, «фактор адресата», оценка и интерпретация своего/чужого высказывания или фрагмента действительности.

В современной лингвистике под **оценкой** понимается членение говорящим объективного мира с точки зрения его ценностного характера: добра и зла, пользы и вреда, важности и неважности, истинности и неистинности и т.п. [3:5]; а также характеристика отношения между действительным миром и его идеализированной моделью с точки зрения наличия/отсутствия соответствия между этими мирами [1:59]. В идеализированную модель мира входит и то, что уже (или ещё) есть, и то, к чему человек стремится, и то, что он воспринимает, и то, что он потребляет, и то, что он создаёт, и то, как он действует и поступает; наконец, в неё входит сам человек [1:59].

Если реальный мир один и един, то идеальный мир вариативен, распадается на множество возможных миров; и каждый из возможных миров содержит множество эталонов идеала [1:95]. **Возможный мир** (или, иначе, концептуальная система носителя языка) – индивидуальный вариант видения реального мира, проявление объективной реальности в сознании говорящего в виде знаний, мнений, предположений, оценок, прогнозов и общих суждений о жизни. Мнение нельзя проверить, поэтому в этом случае уместнее говорить не об истинностной, а о вероятностной оценке [4:10]. Но, с другой стороны, мнение претендует на истинность, может стать предметом обсуждения и обдумывания, и это превратит коммуникацию в «затянутую верификацию неверифицируемых суждений и выяснение истинных мыслей собеседников» [5:68].

Прагматика речевого общения не требует специального подтверждения истинности полученной или даваемой информации [6:7]. Предполагается, что субъект речи, произнося то или иное высказывание, соблюдает «максиму качества», по Г.П. Грайсу [7:223]. Нарушение этой максимы субъектом речи или предположение адресата о том, что его речевой партнёр передаёт недостоверное сообщение, обязательно должны оговариваться.

В фокусе нашего внимания как раз и будут находиться такие особые ситуации оговорок, примечаний, комментариев, итоговых умозаключений, необходимых, с точки зрения их автора, в силу разных причин.

Для того, чтобы сформулировать эти причины, укажем на важное семантическое различие между дискурсивными словами *именно* и *действительно*, вытекающем из их этимологии и «поведения» в контексте. *Именно* непосредственно связано с *именем* и *именованием* и отражает итог оценки *номинации*, именующей тот или иной объект, свойство, факт, явление, действие и т. п. Ср.: *именно тоска, а не страх; именно распахнул, а не отворил (окно)*. *Действительно* связано с *действительностью* и отражает итог оценки *пропозиции*, содержащей информацию о некотором явлении, свойстве, факте и т. п. Ср.: *Действительно, это очень трудное уравнение. Я действительно приду*.

Хотя это различие не является единственным и требует специальной аргументации и тщательной верификации, оно все же позволяет объяснить, в силу каких причин субъект речи считает необходимым введение в свой дискурс оговорочных и комментирующих пропозиций, включающих частицы *именно* и *действительно*. Дискурсивное слово *именно* включается в пропозицию такого типа, ЕСЛИ: номинация, введенная в предтексте, является

неадекватной, неточной (с точки зрения говорящего) и нуждается в проверке на соответствие своему или чужому концептуальному миру. Именно в этом случае является маркером **истинностной** (редко ценностной) оценок номинаций (примеры см. ниже).

Дискурсивное слово **действительно** включается в пропозицию, ЕСЛИ: 1) пропозиция, содержащая какую-либо информацию и введенная в предтексте, по мнению говорящего, *недостоверна* и нуждается в верификации для своего подтверждения или опровержения – в этом случае **действительно** является маркером **истинностной** оценки пропозиции; 2) если, по мнению говорящего, кто-либо из участников коммуникации *неискренен* в своём речевом поведении или же говорящему **КАЖЕТСЯ**, что кто-либо из участников коммуникации (а в нарративных текстах также и читатель) подозревает его самого в неискренности – в этом случае **действительно** является маркером **этической оценки**.

Рассмотрим эти особенности и закономерности функционирования дискурсивных слов **именно** и **действительно** на конкретных примерах, которые в данной статье сгруппированы в соответствии с некоторыми (из множества возможных) типами диалогических ситуаций.

1. Ситуация согласия.

Действительно как маркер истинностной оценки.

Речевое произведение может оцениваться субъектом речи с точки зрения истинности пропозиции в смысле *достоверности, соответствия ее некоторому положению дел и/или концептуальному миру субъекта, производящего оценку*. В этих контекстах предтекст воплощает в себе предварительное мнение говорящего о чем-то, версию, нуждающуюся в проверке и доказательстве.

Действительно в этом случае выступает сигналом того, что проверка гипотезы дала положительные результаты и значит, существование гипотезы не было лишено оснований, и её можно квалифицировать как *истинностную*.

(1) – Она вдруг подумала: «Я бегу к Кянукуку, как будто он Марвич, как будто сегодня он часть моего Вальки. Смех, но в них **действительно** есть что-то общее. У Олега этого нет...Я помешалась». (В. Аксёнов)

(2) И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий – или он был вконец бестолковый. **Действительно**, когда Захар Павлович попробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, бобыль еще более удивился и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно. (А. Платонов)

(3) Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого **действительно** без порчи платья не разденешь. (А. Платонов)

Действительно может употребляться в контексте *предшествующего* межсубъектного расхождения по поводу ситуации X. В этом случае оно отражает итог совершившегося в сознании субъекта, оценивающего ситуацию, движения мысли от несогласия с мнением собеседника до полного или частичного принятия его точки зрения.

(4) – Садись, – сказал шофёр.

Я молча сел с ним рядом.

– Я сейчас рифму разобрал. Может, ты и прав, может, это и не Есенин.

– Должно быть, действительно какой-нибудь алкаш сочинил.
(В. Аксёнов)

Именно как маркер истинностной оценки.

Очевидно, что в этом случае (и в некоторых других – см. далее) необходимо различать несколько типов субъектов речи, прежде всего – непосредственных участников коммуникации (говорящего-зачинщика и говорящего-ответчика) и автора комментария/интерпретации своей или чужой речи, который может быть нарратором или говорящим-посредником.

Именно как маркер оценки номинации функционирует в тексте, принадлежащем говорящему-комментатору (интерпретатору) и содержащем проекцию на возможные миры субъекта речи, высказывание которого комментируется и анализируется.

Таким образом, оценка номинации происходит с точки зрения комментатора (интерпретатора) и заключается в выражении комментатором МНЕНИЯ о соответствии номинации внутреннему миру и дискурсу языковой личности.

Истинность в этом случае означает *точность, адекватность, ингерентность номинации миру языковой личности*, ибо “собственно языковая личность начинается на том уровне, где оказывается возможным индивидуальный ВЫБОР, личностное ПРЕДПОЧТЕНИЕ одного понятия (добавим – номинации – Е.К.) другому, допустимо придание статуса важности не той идее (номинации – Е.К.), которая статистически более часто претендует на данное место в стандартно-усредненном (тривиальном – Е.К.) тезаурусе социально-речевого коллектива” [11:53].

В (5) комментатор с помощью *именно* оценивает употребленную говорящим номинацию “найди п ару” как адекватную внутреннему миру и дискурсу языковой личности и утверждает ее противовоставленность более тривиальной и стереотипной номинации “женись”.

(5) *Брось такую работу. Найди себе пару.*

Именно так – найди пару! Индюнас никогда не сказал бы: “Женись”
(М. Слущис)

Говорящий может комментировать собственную номинацию и не перемещаясь в пространство чужой личности, т.е. оставаясь в рамках своих возможных миров.

В нашем материале имеются развернутые контексты, в которых с помощью *именно* эксплицируется выбор говорящим номинации в результате аналитического рассуждения (автодиалога) и проникновения в суть явления для такого его именованья, которое бы удовлетворяло говорящего, представлялось бы ему объективным.

(6) *«Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний – именно».* (И. Тургенев)

2. Ситуация “возражения под видом согласия”.

Дискурсивное слово *именно* может маркировать не только полное согласие, а значит, и подтверждение истинности, но и более утончённую, более изысканную реакцию речевого партнёра на предтекст. Речь пойдёт о таких случаях, которые в [8:303] названы «возражением под видом согласия», или особой манерой спорить. Говорящий как будто соглашается с мыслью, высказанной оппонентом, но тут же приводит соображение, сводящее на нет возможные выводы из этой мысли.

Такая тактика спора может быть обусловлена правилами вежливости, учтивости, а может быть самою сущностью спора, если спор идёт о ценностях и вкусах, и тогда разговор ведётся по принципу «то, что вы говорите, верно, но важно другое», и в результате предметом несогласия оказывается не столько истинность утверждений, сколько *иерархия ценностей*. [8: там же].

(7) – *Человек-царь природы.*

– *Вот именно, царь. Поцарюет, поцарюет да и загорюет.*

В.Распутин)

(8) – *Собака – друг человека.*

– *Вот именно, друг. Так и норовит стащить со стола курицу.* (Из устной речи)

(9) – *Да, я загляденье! – настаивал он. – Я сам слышал, миссис Брилл так говорила. Она сказала Элин, что я – просто куколка!*

– *Вот именно! – проворчала Джейн. – и нос у тебя курносый.* (П. Трэвэрс)

В подобных контекстах проявляется межсубъектное расхождение по поводу ценности или роли некоторого понятия в жизни человека (7-8) или по поводу истинности самооценки языковой личности (9), причём это расхождение проявляется в виде игры, тонкого манипулирования разными компонентами значения. *Вот именно* в таких случаях маркирует согласие второго коммуниканта «поиграть» со значением слова, служит «точкой отсчёта» для выражения концептуального несогласия, привлечения отрицательно коннотированного языкового элемента (царь-‘горюющий’, друг-‘делающий вред’, куколка-‘имеющая курносый нос’), в противовес положительно окрашенному компоненту, входящему в понятийное содержание языкового знака и выраженному первым коммуникантом в его высказывании (‘лучший представитель рода’, ‘делающий добро’, ‘милая, симпатичная’)

3. Особые случаи реагирования говорящего-ответчика.

Речь идет о ситуациях *неадекватного* (10) или *непрямого* (уклончивого) (11) реагирования говорящего-ответчика на высказывание коммуникативного партнера.

В первом случае говорящий или не ощущает иронию собеседника, или сознательно “закрывает на нее глаза”, с тем чтобы “гнуть свою линию” в диалоговом взаимодействии, отвечать на “свой лад”, в соответствии со своей тактикой и стратегией речевого поведения (с выгодой для себя). Тогда *именно* (вот именно) выступает маркером согласия с нейтральным, а не ироническим смыслом, заключенным в предтексте.

(10) – *Есть, есть здоровое ядро, из которого разовьется раса. Надо только положиться на силу.*

– *На германскую силу? – с иронией уточнил Агеев.*

Ковешко не понял иронии и почти обрадовался подсказке.

– *Вот именно – на германскую. Другой силы на земном шаре теперь, к сожалению, не существует.* (В. Быков)

А в (11) действительно скрывает растерянность, удивление говорящего-ответчика, его неспособность к быстрому соотнесению мнения, высказанного собеседником, с внеязыковой реальностью и включается в сообщение о необычности, странности мнения говорящего-зачинщика.

(11) – *Ты знаешь такого низенького сморщенного мексиканца, который продаёт игрушки-головоломки? – спросила Саксон. – Так вот Бог, по-моему, чем-то похож на него. Мери расхохоталась.*

– *Вот уж ты действительно говоришь странные вещи. Мне никогда ничего подобного в голову не приходило* (Дж. Лондон).

4. Действительно как маркер этической оценки.

Это случаи, в которых говорящий, гипотетически допуская некоторую долю неискренности со стороны субъекта речи и желая либо исключить её, либо убедиться в наличии оснований для своего предположения, подвергает свою версию проверке и делает заключение о верности /неверности гипотезы. Если действительно подтверждает искренность субъекта речи, оно тем самым как бы снимает с него подозрения автора комментария (а возможно, и других лиц: в нижеследующем примере – говорящего – зачинщика).

(12) *На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, Ванька отвечал: «Да не пьян я, а, верно, так, омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, может, кондрашка пришиб».*

Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было... (Ф. Достоевский)

Если действительно подтверждает неискренность субъекта речи, оно тем самым подтверждает и состоятельность версии комментатора о возможной неискренности говорящего.

(13) *Они похожи на ту породу житейских плутов, прирождённых Тартюфов и Фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть честное дело* (Ф. Достоевский).

Заметим, что в данном случае говорящим комментируется не конкретное высказывание субъекта речи (группы лиц), а речевое поведение и речевая деятельность в целом.

Действительно может являться оценочным компонентом важного, с точки зрения говорящего, примечания к аналитическому рассуждению (автодиалогу) или к собственной реплике, использованной в процессе диалогового взаимодействия. Речь идет об оценке говорящим собственного высказывания

(текста) с точки зрения выгоды/невыгоды и необходимости/отсутствия необходимости быть искренним в данной речевой ситуации. При этом действительно акцентно выделяется говорящим с целью воздействия на внутренний мир адресата: «Поверьте, что Х», «Я хочу, чтобы вы не сомневались, что Х». Таким образом, действительно косвенно сообщает о выбранной говорящим речевой тактике и стратегии предупреждения возможных, с его точки зрения, негативных реакций адресата (возможного недоверия, неверия, насмешки и т. п.). Выбор такой тактики обусловлен заботой говорящего о дальнейшем отношении к нему речевых партнёров, «программированием» своего будущего, интенцией сформировать в «чужом» сознании свой речевой облик (образ искреннего коммуниканта), поиском компромисса между собственной выгодой и соблюдением условия искренности как условия успешности коммуникации.

(14) Я был раздражён; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьёзное горе, оскорбление, обиду; и всё это было действительно так, без всяких преувеличений. (Ф. Достоевский)

(15) – Киноактриса? – спрашивали случайные попутчики.

– Угу, – кивал я, потому что она действительно становилась в ту пору киноактрисой, а утверждая, что это моя жена, я только бы смешил своих попутчиков. (В. Аксёнов)

В качестве резюме скажем, что дискурсивные слова именно и/или действительно могут выступать в самых различных ипостасях: как маркеры согласия, возражения под видом согласия; особого реагирования говорящего-ответчика; маркеры истинностной и этической оценок; как речевое средство психологического давления на адресата, «навязывания» ему своего возможного мира с его ценностями, вкусами, коммуникативными установками и т. п. («риторический оператор» [8]). Выявить ту или иную роль дискурсивного слова и тип диалогической ситуации возможно, только опираясь на контекст его употребления. В любом случае подобные употребления связаны с ситуациями оговорок, примечаний, интерпретаций, комментариев и т. п., которые, по сути, являются отступлениями от идеально-нормативного речевого поведения (в частности «максимы качества», по Г. П. Грайсу), но достаточно распространённого в реальной коммуникации. При этом «поведение» дискурсивных слов именно и действительно в различных типах диалогических ситуаций и в различных контекстах не одинаково, что обусловлено имеющимися между ними семантическими различиями, одно из которых – связь именно с именем и способность выступать маркером оценки номинации в терминах истинности как точности, адекватности vs. связь действительно с действительностью и способность отражать оценку пропозиции в терминах истинности как достоверности и искренности.

Литература

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
2. Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском

- языке; Семантика нарратива). М., 1996. 3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 1985. 4. Дмитровская М.А. Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка: знание и мнение. М., 1988. С. 6–17. 5. Арутюнова Н.Д. Вторичные истинностные оценки: правильно, верно. – Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 67–78. 6. Арутюнова Н.Д. Речеповеденческие акты и истинность // Человеческий фактор в языке: коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 6–39. 7. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 79–128. 8. Булыгина Т.В., Шмелёв А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. 9. Голубева-Монаткина Н.И. Тожество возможных миров и вопросно-ответная последовательность // Тожество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990. С. 187–193. 10. Павилёнис Р.И. Проблема смысла. М., 1983. 11. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Ю. Кохан

Особливості функціонування фразеологічних одиниць в авторській мові та мові персонажів як одна з рис ідіостилю письменника (на матеріалі прози Олеса Гончара)

Індивідуально-авторський стиль (ідіостиль) письменника є складним і багатограним явищем, у якому органічно поєднуються складники, що становлять інтерес як для літературознавців, так і для мовознавців. Одним із завдань, які мовознавці розв'язують при дослідженні ідіостилу письменника, є аналіз особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць у художніх творах. Дослідник ідіостилу повинен з'ясувати не тільки *що*, а і *як* використовує автор. Це повною мірою стосується і фразеології як компонента ідіостилу письменника.

Одним із аспектів вивчення фразеології в складі ідіостилу є аналіз стійких словосполучень з погляду опозиції мова автора / мова персонажів. Ці два складники мовної тканини літературного твору, будучи органічно поєднаними, зберігають, проте, притаманні їм специфічні риси. І. Попова так визначає особливості авторської мови порівняно з мовою персонажів: «Авторська мова являє собою найбільш адекватне втілення загальнонародної мови і лише почасти зумовлена мовною характеристикою героїв, тимчасом як мова дійових осіб неоднорідна і залежить від належності їх до певного соціального прошарку, по-перше, і, по-друге, від тих індивідуальних рис характеру, яких надає їм задум письменника» [5:141]. Зважаючи на ці особливості, цікавим видається порівняльний аналіз функціонування фразеологічних одиниць (ФО) в авторській мові і в мові персонажів на матеріалі прози О. Гончара з метою з'ясувати, як це впливає на формування ідіостилу письменника. Вважаємо дослідження фразеології творів Гончара в такому аспекті виправданим, оскільки це питання, за винятком побіжних зауважень у кількох працях [1, 2, 4], є мало розробленим.

При аналізі фразеологічного матеріалу, який функціонує в авторській мові прози О. Гончара, впадає у вічі така особливість, як нерівномірна насиченість стійкими словосполученнями різних форм опису. Ця нерівномірність, очевидно, може пояснюватись як об'єктивно існуючими внутрішньомовними фактами, незалежними від творчої особистості автора, так і особливостями стилю письменника, які виявляються в наданні переваги тим чи іншим мовним засобам при різних типах оповіді.

Вважаємо, що внутрішньомовними чинниками пояснюється невелика кількість ФО, використаних Гончаром у пейзажних описах. Причину цього вбачаємо в тому, що у фразеологічному фонді української мови незначна кількість висловів, що можуть передавати пейзажні деталі. Творча ж індивідуальність письменника виявляється у наданні переваги фразеологізмам із значенням просторової чи часової необмеженості: *скільки сягає зір, без краю, від краю до краю, на всі чотири боки*: «Скільки сягає зір, в'юнилися в блакитній високості незліченні білі нитки, то плавно опускаючись, то знову підіймаючись у прозорих потоках повітря» [6, Ш:6]; «На всі чотири сторони світу – рівнина й рівнина, колишнє морське дно» [6, Ш:382]. Інші фразеологізми, використані прозаїком при змалюванні картин природи, є, сказати б, універсальними і можуть використовуватись як у пейзажах, так і в інших видах опису. Такими, наприклад, є ФО *як сльоза, серед білого дня*: «Чисті, як сльози, хвилі [марева] легко обтікатимуть настуха, брестиме по дну прозорого моря отара...» [6, II:196]; «Вся Таврія *серед білого дня* раптом окуталась таким присмерком, що, не мружачись, можна було дивитися на сонце [6, II:289].

Таким чином, у використанні Гончаром фразеологізмів при зображенні пейзажів виявляється закономірність, яка полягає у зверненні до фразеологічного матеріалу при необхідності підкреслити в картинах природи щось надзвичайне, неординарне, те, що виявляється великою мірою. Таке використання фразеологізмів сприяє посиленню емоційної насиченості оповіді.

Частіше, ніж у пейзажних описах, використовуються фразеологізми в портретах персонажів. Хоча, за нашими спостереженнями, у творах О. Гончара фразеологізми не є обов'язковим елементом при змалюванні зовнішності дійових осіб. Часто автор використовує при цьому лише лексичний матеріал. Здебільшого фразеологізми допомагають виділити якусь характерну рису зовнішності персонажа чи передати загальне враження від його зовнішнього вигляду. Змальовуючи в романі «Прапороносці» портрет Сагайди, О. Гончар за допомогою фразеологізму *сидіти чортом* виділяє одну з характерних рис його зовнішності: «Кубанка завжди *сиділа* на ньому *чортом*» [6, I:116]. Семантика фразеологізму узгоджується з образом героя – хороброго, відчайдушного офіцера.

Крім того, в деяких випадках портретні деталі, передані стійким словосполученням, відтіняють певні риси характеру героя або навпаки контрастують з ними. Таку функцію, на нашу думку, виконує ФО *хоч обіддя гни* при змалюванні зовнішності старшого сержанта Гладуна, персонажа роману «Людина

і зброя»: «Здоровий, дебелий, з в'язами такими, *хоч обіддя гни*» [6, IV:64]. За допомогою цієї фраземи автор привертає увагу читача до фізичної сили персонажа, щоб при подальшому розгортанні сюжету виразніше підкреслити його боягузтво і нікчемність на передовій.

Найбільш уживаними, за нашими спостереженнями, ФО є у змалюванні сюжетних подій. Якщо оповідь при цьому ведеться відсторонено, від третьої особи, фразеологія авторської мови загалом позначена меншою емоційністю порівняно з фразеологією мови персонажів. Значною мірою це зумовлено неодноразовим використанням висловів емоційно нейтральних, з незначними експресивно-виражальними властивостями: «*Крок за кроком* [Козаков] посував-ся вгору, хапаючись за колочі куші шкарубками, в ластовинні руками» [6, I:146]; «Сергій уміє читати галопом, запевняє, що «освоїв» [сценарії], тепер знічев'я цілоденно тиняється з *кутика в куток*» [6, IV:323]. Звичайно, сказане вище не означає відсутності в авторській мові емоційно насажених словосполук з виразною еспресивною потенцією. Такі вислови, безумовно, є. Більше того, кількісно вони переважають ФО з нейтральним емоційно-експресивним забарвленням.

Якщо ж авторська мова сприймається як внутрішнє мовлення персонажа, то вжиті в ній ФО здебільшого або передають ставлення героя до зображуваного, або служать засобом характеристики персонажа. При цьому стилістичне забарвлення фразеологізмів та їх семантика зумовлюються особою персонажа чи його психологічним станом. Наприклад, у повісті «Бригантина» значна частина подій змальована через сприйняття головного героя – малолітнього правопорушника Порфира Кульбаки. Відповідно авторська мова при цьому сприймається як мова самого героя. Тому при змалюванні обстановки у спецшколі, поданої через сприйняття підлітка, в авторській мові знаходимо ФО оцінювального характеру з негативними забарвленнями, серед яких трапляються вислови згрублі та іронічні: «В який бік не розженись – мур тебе зустріне, мур такий, що його й *собака не перескочить*» [6, V:300]. «Хлоп'я спідлоба вивчально позиркувало на свого майбутнього наставника: кремезняк, плечі вліті, обличчя червоне, щокасте – добру *будку роз'їв* на флотських харчах» [6, V:285].

Говорячи про фразеологію мови персонажів літературного твору, зазначимо, що при її аналізі виявляються як універсальні, притаманні багатьом авторам риси, так і особливості, властиві стилю конкретного автора. Погоджуючись із твердженням В.Кухаренко про те, що мова персонажа створена автором, але існує окремо від нього, будучи вираженням іншої, не авторської індивідуальності [3:7], зазначимо, однак, що в мові дійових осіб, як і в мові автора, також помітна авторська індивідуальність, яка виявляється у стилістичних функціях та прийомах використання мовного матеріалу, в тому числі й фразеологізмів. Це інший вияв індивідуальності – індивідуальності не просто людини, особистості як такої, а митця слова, творця, робочим матеріалом якого є мова.

Використання значної частини ФО у мові персонажів зумовлене їх закріпленістю за сферою уснорозмовного спілкування. Так, переважно в мові

персонажів можуть функціонувати стійкі словосполучення, що виконують роль привітань, прощань, побажань, форм ввічливості, проклять тощо. «Пролунала команда, і Спартак мерщій кинувся до вагона.

— Ну, *бувайте*, хлопці. *Не згадуйте лихом*» [6, IV:216]; «Босць розчулено хлиснув:

— Спасибі... *Щастя вам*, товаришу командир» [6, IV:85].

Наведені приклади функціонування стійких словосполучень є загальноприйнятими, узуальними. Вони вжиті в типовій ситуації, що дає підстави говорити про них як про вияв типового у творчості О.Гончара. Індивідуальність же прозаїка виявляється у введенні висловів з названої вище групи до незвичного контексту, у нетрадиційному поєднанні з певними лексемами. Так, усталені форми привітання, як відомо, використовуються у сфері людського спілкування.

У трилогії «Прапороносці» спостерігаємо функціонування привітання в нетрадиційному контексті — воно звернене до горохової каші: «— Що там? — підводиться скудлачений Сагайда, щоб заглянути в казанок. — Знову гвардії горох! *Здоров був*, давно бачились!» [6, I:69]. Якщо в традиційній ситуації вживання ця фразема має певний відтінок невимушеності, доброзичливої фамільярності, то в наведеному мікроконтексті етикетна формула набуває виразно іронічного забарвлення.

Крім того, мова персонажів більшою мірою позначена відтінком розмовності, ніж мова автора, за рахунок функціонування в ній значної кількості розмовно-просторічних ФО. Це стилістично знижені вислови, які у словниках супроводжуються ремарками: «вульгарне», «грубе вживання», «зневажливе», «лайливе», «фамільярне». При розгляді стилістично зниженої фразеології у мові персонажів прози О.Гончара впадає у вічі значна кількість згрубілих висловів з компонентами *чорт*, *біс*, *дідько*. Функціонують ці ФО у мові не лише негативних, а й позитивних персонажів: «— По сто двадцять ягнят не дала б на сотню вівцематок, *чорти вашій матері?* — Дівчина аж притупнула... Потомствена ж я чабанка!» [6, V:133-134]. «Де він [кулемет] тут закріплений, що його тримає — *ні біса* не бачу» [6, III:35].

Як пише Н.Левун, такі фразеологізми є одним із поширених оціночних засобів мови [4:158]. Але, як нам здається, вислови названої групи виконують не лише емоційно-оцінювальну функцію згідно з мовною практикою. Можливо, ці ФО є своєрідною «противагою» до урочисто-піднесеної лексики й фразеології, якою автор іноді аж занадто шедро насичує мову своїх персонажів. Можна припустити, що О. Гончар за допомогою подібних висловів намагався дещо нейтралізувати надмірну патетичність оповіді, певним чином «приземлити» її, наблизити до живого мовлення.

Аналізуючи ідіостиль письменника, не можна не звернути уваги на те, що деякі мовні одиниці позначені більшою частотою вживання в тексті. Так, дослідники індивідуально-авторських стилів уводять таке поняття, як слова-фаворити. Їх використання, як зазначає В. Кухаренко, зумовлене суб'єктивними авторськими симпатіями. Залишаючись на поверхні пам'яті письменника і

постійно вводяться до тексту, вони постійно збагачуються у процесі вживання, стають джерелом додаткової виразності [3:15].

Вважаємо, що наведене твердження є справедливим не лише щодо лексичного, але й щодо фразеологічного матеріалу в ідіостилі письменника, бо симпатії автора до окремих ФО при розв'язанні певних завдань є очевидними.

Говорячи про фраземи-фаворити (називаємо їх так за аналогією до термінологічного позначення «слова-фаворити») у творах Олеся Гончара, насамперед все слід назвати ФО *раз у раз / раз по раз*. Цей вислів надзвичайно активно функціонує майже у всіх творах прозаїка незалежно від жанру і часу написання. Саме цю фразу автор послідовно використовує для позначення дій, що постійно відбуваються або періодично повторюються: «Сірі, глибоко запалі очі майора *раз у раз* звертались на Черниша, уважно оглядаючи його чорний з полиском курсантський йоржик [6, I:63]; «*Раз по раз* у повітря – між нами й селищем – злітають цілі хмари води, чорні вибухи нічної стихії [6, IV:321]. Широко репрезентований у прозі Гончара вислів *день у день / день крізь день*: «*День у день* віддає [Лукія] себе на розтерзанні буденщині, кипить у лихоманці справ, ламає голову над чиймось клопотами, і нема їй впину, ніколи нема спокою... [6, V:83]; «Відколи сонце пригріло, коли повіяло весною, Оксана *день крізь день* тут, серед цих сипучих пісків» [6, V:293].

Зважаючи на безобразність названих ФО і значну частоту вживання їх у мові, ми свідомі того, що висока частотність використання названих фразем у текстах Гончаревої прози певною мірою зумовлена мовною традицією. Але основним чинником все ж вважаємо уподобання автора. Функції, аналогічні тим, що виконують ФО *раз у раз* та *день у день*, можуть виконуватись, наприклад, прислівниками «постійно» та «щодня», але, на нашу думку, автор свідомо надає перевагу стійким словосполученням. Крім того, свідченням авторських симпатій до одного з аналізованих висловів є вживання письменником фраземи *ніч крізь ніч*, створеної за зразком ФО *день крізь день*: «На одній із вершин пульсує зірочка маяка. Пульсує отак *ніч крізь ніч*» [6, IV:321]. Усе це дає підстави назвати фразеологізми *раз у раз* та *день у день* фраземами-фаворитами у стилі Олеся Гончара.

Серед фразеологізмів, функціонування яких відзначається високою частотністю, можна назвати ФО *на край світу*: «А дівчата... ідуть з таким виглядом, що готові, мовляв, іти з вами не то до Чугуєва, а справді хоч і *на край світу*» [6, IV:55]. «Ніколи більше самого не відпущу [чоловіка]. *На край світу* посилятимуть, і я з ним» [6, VII:11].

Часте вживання, на нашу думку, не єдиний критерій визначення фразем-фаворитів. Так, нами зафіксовано три випадки вживання трансформованого вислову *стара гвардія* в романах «Тронка», «Собор» та в повісті «Бригантина»: «Не терпить він [Брага] хапуг та ліваків, такі, каже, тільки ганьблять нашу *степову гвардію*» [6, V:219]; «Студент-металург уже [Микола Баглай], а й зараз ще має звичку бовтатись у сазі, полохати в осоці карасів, і щоразу асистентами при ньому всі ці баглайчата, ткаченята, шпаченята, вся ота замур-

зана *зачіплянська гвардія*, що віддана студентові безоглядно...» [6, VII:15–16]; «Колесо й зараз лежить у бур'яні, нога стоїть на ньому, на потрісканій гумі, колесо є, а товаришів нікого нема, всі у школі, – за партами протираєш п'яніцю твою відважну *плавецька гвардія*» [6, V:375]. Названа фразема належить до часто вживаних, але завдяки виразній експресії, викликаній її використанням, вона є помітною в текстах названих творів. Гадаємо, що її використання зумовлено уподобаннями автора, його лірико-романтичним світосприйняттям, оскільки аналізована фразема виконує функцію створення урочисто-піднесеного або ліричного забарвлення оповіді, що є ознаками стилю Олеся Гончара.

Аналіз у наведених аспектах функціонування ФО в мові художньої літератури, особливо, якщо він не обмежується рамками одного твору, а здійснюється в контексті всього творчого доробку письменника, сприяє виявленню індивідуальних рис авторського стилю і розумінню того, якими чинниками зумовлюється самобутність творчої манери художника слова.

Література

1. Бабич Н.Д. Багатство фразеології як ознака народності мови творів Олеся Гончара // Літературний процес і творча індивідуальність письменника: Тези доповідей обласної конференції. Дніпропетровськ, 1988. С. 131–132.
2. Білодід І.К. Питання розвитку мови української радянської прози (переважно післявоєнного періоду, 1945–1950 рр.). К., 1955. 327 с.
3. Индивидуально-художественный стиль и его исследование / В.А. Кухаренко, К.А. Горшкова, Л.А. Емельянова и др. Под общ. ред. В.А. Кухаренко. К., Одесса, 1980. 168 с.
4. Левун Н.В. Фразеологія в романі О. Гончара «Таврія» // Літературний процес і творча індивідуальність письменника: Тези доповідей обласної конференції. Дніпропетровськ, 1988. С. 157–159.
5. Попова И.Р. Функционирование фразеологических единиц в авторской речи произведений современной советской прозы // Языковые и речевые единицы в лексике и фразеологии русского языка: Межвузовский сб. научн. трудов. Курск. С. 140–149.
6. Гончар О.Т. Твори: У 7 т. К., 1987–1988.

О.В. Кравченко

Что общего у делимитативов, образованных от глаголов различных таксономических категорий?

В этой статье мы хотели бы рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся концепции Е.В. Падучевой относительно делимитатива. На рассмотрение выносятся следующие её положения:

– делимитативы образуются в подавляющем своём большинстве от глаголов таксономической категории (в дальнейшем Т-категория) «деятельность» и не образуются от глаголов Т- категории «постоянные свойства», кроме того, делимитативный показатель способен сочетаться с глаголами Т-категории «процесс»;

– сочетание делимитативного показателя *по-* (в дальнейшем Д-показатель) с глаголами Т-категории «состояние» придаёт последнему оттенок деятельности;

– в контексте целеполагающего субъекта делимитатив всегда более уместен;

– в частности, для глаголов *кашлять*, *дышать* соответствующий делимитатив всегда обозначает намеренную деятельность;

– в толкование делимитатива входят смыслы: «начать делать, продолжать делать и кончить делать нечто»;

– идея начала и конца, входящая в семантику делимитатива, согласуется с возможностью субъекта деятельности начать и кончить деятельность в соответствии со своим намерением;

– Д-показатель имеет предпосылкой потенциально неограниченную длительность и не присоединяется к глаголам Т-категории «деятельность», если деятельность имеет предел [2:145-147].

Исходя из первого положения, мы можем выделить 2 группы делимитативов: делимитативы-деятельности и делимитативы-процессы. Причём в разряд первых попадают и делимитативы-состояния, поскольку они приобретают характер деятельности. К делимитативам-деятельностям относятся, видимо, и такие, которые производны от глаголов, обозначающих многоактные действия. Заметим сразу, что некоторые многоактные глаголы, например, *ахать*, *мигать*, *вилять*, *моргать*, рассматриваются Е.В.Падучевой двояко: то в качестве видовых партнёров соответствующих семейфактивов *ахнуть*, *мигнуть*, *вильнуть*, *моргнуть* [там же:119], то как глаголы Imperfectiva tantum Т-категории «деятельность» [там же:143]. Поскольку действие, в том числе и многоактное, это всегда деятельность, а деятельность – это только такое действие, которое имеет в виду дискретную цель [там же:145], то данные многоактные глаголы могут истолковываться в одних контекстах как деятельность, а в других – как действия. Попробуем сообщить о каком-нибудь многоактном действии, безотносительно к цели, как о конкретном факте:

1.а. ? Он поахал.

б. Он поахал, чтобы все поняли, что и он переживает.

Пример 1.а. в качестве ответа на вопрос *Что он сделал, когда узнал об этом?* звучит если и не аномально, то сомнительно, потому что выглядит незавершённым. А пример 1.б. более чем приемлем. Отметим, что и пример

2.а. Он поахал и всё.

вполне подошёл бы для ответа на наш вопрос. Запомним это.

Учитывая изложенное, мы получаем в дополнение к первым двум – делимитативам-деятельностям и делимитативам-процессам – третью группу делимитативов: делимитативы-многоактные действия.

В качестве единственного делимитатива, производного от глагола Т-категории «состояние», Е.В. Падучева приводит глагол *побеспокоиться* «с оттенком деятельности», к сожалению, без контекстного окружения. Вряд ли имеется в виду нечто, вроде

3.а. Я сам побеспокоюсь об этом.

Скорее

3.б. Он немного побеспокоился и снова вернулся в приятное расположение духа.

Приведём пример делимитатива, производного от глагола Т-категории "постоянные свойства" числиться:

4. Аспирантом он почислился недолго (из устного сообщения). Кроме того, возможны делимитативы, производные от диспозиций, а последние Е.В.Падучева также относит к Т-категории "постоянные свойства" [2:130]: пободаться, покусаться, похрамать, поскрипеть.

Таким образом, мы имеем, как минимум, пять групп делимитативов по числу Т-категорий, от глаголов которых они производны.

Что же их объединяет? Для ответа на поставленный вопрос вернёмся к примеру 1.а и поробуем использовать делимитатив любой из пяти групп в качестве сообщения о конкретном факте в ответе на вопрос "Что случилось?" и в качестве сообщения о наблюдавшейся ситуации в ответе на вопрос "Что вы видели?":

5. ? Он побеспокоился. (состояние)

Он покусался. (постоянное свойство)

Он поахал. (многоактное действие)

Он побродил. (деятельность)

Чайник покипел. (процесс)

Делимитативы всех групп не способны полноценно сформировать высказывание о конкретном факте или о наблюдавшейся ситуации. Недаром многие примеры Е. В. Падучевой имеют "довески" финитной семантики (они выделены жирным шрифтом):

5.а. Чайник покипел и перестал.

Лампочка посветила и погасла.

Солнце посветило и зашло за тучу. [там же:146] и под.

То, что делимитатив оставляет ситуацию, описываемую им, незавершённой, говорят не только выделенные нами смысловые "довески", но и то обстоятельство, что в тексте практически невозможно найти отдельный делимитатив, занимающий рематическую позицию:

6. *? Он узнал эту новость и побеспокоился.

Он выбежал и покусался.

Он услышал эту новость и поахал.

Он вышел из дома и побродил.

Чайник засвистел и покипел.

В каком-то смысле делимитатив ведёт себя подобно глаголам *стоять*, *сидеть*, *лежать*, описывающим фон, на котором разворачивается основная деятельность:

7. Он стоял и думал. Ср. * Он думал и стоял.

Отдельный делимитатив в реме обычно встречается в предложениях «сипюнь» состоящих из делимитативов:

8. Он и поел, и поспал, и погулял.

Однако подобные предложения почти никогда не являются концом связного текста, за исключением случаев в сочетании с частицей «хоть», когда необходимо выразить, что принципиальная неполнота одного положительное качество по сравнению с полным отсутствием другого: тип «так что хоть + делимитатив ...», или когда, напротив, выражается смысл: «всего понемногу, а в целом – много»: тип «так что и + делимитатив, и + делимитатив ...»

Мы предполагаем, что делимитатив в окружении глаголов других типов выполняет роль медиатора, связующего звена между предыдущей ситуацией, описываемой неделимитативным глаголом, и последующей, при этом сам не способен полноценно описывать ситуацию, если дискретная цель хоть как-то (не обязательно эксплицитно) не задаётся прагматическим контекстом. Например,

9. Он помигал фарами (чтобы его автомобиль увидели).

Он осветил фонариком (чтобы можно было осуществлять какую-то деятельность, требующую света).

Е.В.Падучева именно на основании подобных примеров говорит о том, что делимитатив всегда является более естественным в контексте целеполагающего субъекта. Действительно, наличие объектного распространителя с орудийным значением в форме творительного падежа предполагает в приведенных выше примерах активного деятеля, производящего действия намеренно. Ср.

10.* Листья пошуршали перепонками.

Однако и с «квазичелеполагающим субъектом» предложение не теряет осмысленности:

11. Самолёт помахал крыльями.

Когда же Е.В.Падучева утверждает, что предложение

12. Солнце осветило

аномально из-за того, что *солнце* не является целеполагающим субъектом, мы не можем с этим согласиться. Предложение с тем же субъектом

13. Солнце осветило пять минут и спряталось за тучи.

вполне нормально, а сомнительность 12 того же рода, что и в 5. Причём пример 13, как и 2.а., который мы специально отметили на будущее, снимает неловкость именно благодаря «довеску» с финитной семантикой. Намеренность действия, как общее свойство делимитативов, не выдерживает критики. В частности, для приводимых у цитируемого нами автора глаголов *покашлять*, *подышать* намеренность вовсе не входит в их семантику:

14. Он покашлял и затих.

Он подышал ещё недолго и умер. (например, он – бессознательный больной).

Кроме того, было бы странно говорить о намеренности *покашлять* применительно, скажем, к коту, подавившемуся костью, поскольку такого рода деятельность у животных рефлексивна:

15. Кот покашлял, пытаясь выплюнуть кость.

? Кот покашлял, чтобы выплюнуть кость.

Мы уже видели, что делимитатив не пригоден для сообщения о фактах и

о законченных ситуациях. Мы находим объяснение этому в том, что делимитатив не выражает *качественной* смены ситуации, и для того, чтобы высказывание имело законченный вид необходимо либо специально эксплицировать то, что ситуация завершилась и сменилась новой (см. 5.а), либо эксплицитно или имплицитно выразить некую *предназначенность* ситуации, обозначенной делимитативом (см. соотв. 1.б и 9). А это, как минимум, косвенно указывает на наличие следующей ситуации. В самом деле, если субъект *что-то* сделал для *чего-то*, то мы можем говорить об одной реальной ситуации и одной прогнозируемой, что имплицитно в свою очередь, смену ситуаций.

Разумеется, нет ничего нового в том, что делимитатив не обозначает *качественной* смены ситуации. Семантика Д-показателя прямо указывает на наличие количественного, а не качественного предела. Но так ли неоспоримо, что благодаря этому в толкование делимитатива входит смысл "X начал и кончил делать нечто"? И здесь мы полностью согласны с мнением Г.М. Зельдовича [1, 8 и далее], что этот смысл не является постоянной семантической составляющей толкования делимитатива. Указанный автор отмечает, что предложение *Иван поспал*, при отсутствии каких-то специальных указаний, понимается нами в том смысле, что *всё* действие названо соответствующим глаголом, то есть, что глаголом описывается и начало, и продолжение, и конец действия. Как же тогда толковать *поспал* в предложениях *Иван поспал уже два часа и продолжает спать*, *Ребёнок уже погулял: пора ему домой*, *После ухода жены Иван ещё поспал* (примеры Г.М.Зельдовича), где в первом и во втором выражается смысл "X не кончил гулять" (соответственно в ассерции и в импликации), а в третьем - "Иван спал и до того, как поспал", что противоречит смыслу "начал"?

Кроме того, по мнению автора, странно то, что, имея, предположительно, в семантическом разложении смыслы "начало, продолжение и конец", то есть обозначая дискретный акт, делимитативы, за исключением многоактных, почему-то не сочетаются с показателями, типа "столько-то раз":

16. *Он побеспокоился три раза.

Он покусался три раза.

Отличие делимитативов-многоактных действий от всех остальных заключается в том, что они описывают гомогенно членимую ситуацию:

17. Он помигал фарами три раза.

Но и в этом случае показатель кратности относится не к количеству ситуаций, описываемых данным делимитативом, а к количеству актов "внутри" одной ситуации. Иначе нам нужно было бы понимать предложение 17 в том смысле, что водитель трижды приезжал, мигал и трижды уезжал.

То, что делимитатив не описывает дискретной ситуации, в отличие от многих других типов глаголов СВ, можно увидеть, сравнив следующие предложения:

18. Он побеседовал (побродил, пописал, постучал) полчаса, а потом ещё 15 минут.

**Он написал письмо за полчаса, а потом ещё за 15 минут.*

То, что *Х написал полчаса*, вовсе не означает, что он *кончил писать*. В отличие от *написать*, действительно выражающего идею завершения действия, *написать письмо ещё* можно, а вот и *написать письмо и продолжать его же писать* — нет.

Поскольку время действия, обозначенного делимитативом, хотя и определённо, как и у всех глаголов СВ, но может быть неизвестно, и поскольку Д-показатель задаёт только количественное ограничение, то как “началом”, так и “концом ситуации” может быть **любая**, не обязательно начальная или финальная точка временного интервала, на котором имеет место данное действие (например, началом для *поспать* может быть уход жены, но это вовсе не означает, что *Иван начал спать, а не продолжил*; концом для *погулять* может быть время, когда говорящий считает, что гулять достаточно, но это также не означает, что *ребёнок закончил гулять*). Д-показатель способен быть только подвижным маркером **количества производящейся деятельности**, но этого недостаточно, чтобы инкорпорировать в семантику производного делимитатива смыслы “начало и конец”. Поэтому Д-показатель и не присоединяется к глаголам Т-категории “деятельность”, если последняя имеет предел, на что справедливо указывает Е.В. Падучева. Если предел задан семантикой глагола Д-показатель не может быть подвижным.

Всё это во многом объясняет поведение делимитативов в контексте как медиаторов, опосредующих предыдущую и последующую ситуации, и их неспособность самостоятельно описывать конкретную ситуацию как дискретный акт из-за подвижности Д-показателя относительно конца и начала действия. Именно эти взаимообусловленные качества, а не намеренность действия, мы и считаем общими для всех делимитативов.

Литература

1. Зельдович Г.М. Семантика совершенного вида: к вопросу об инварианте. 1997.
2. Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Ю.В. Крапива

Прагматический аспект

короткой журнальной статьи как типа текста

В широком смысле слова любой текст не лишен прагматического аспекта — данный аспект присутствует в тексте уже в силу того, что его отправитель, реализуя в речи свою коммуникативную задачу, отбирает некоторые средства языка, определяя тем самым к ним свое отношение, и выстраивает и организует их так, чтобы они сделали возможным адекватное декодирование данного текста. В едином акте коммуникации собственно содержательное и воздействующее начало нерасторжимы, так же как нерасторжимы сами

стороны языка — его *“внутренняя структура”* и его *“материальный эффект, т.е. воздействие на поведение человека”* [1:4].

На практике, когда речь идет о прагматической стороне текста, прежде всего имеются в виду сильные формы: воздействие достаточно высокой степени интенсивности, очевидная оценочность, преимущественно эксплицитного характера.

Выбор рассмотренных функциональных форм, языковых средств в таком типе текста, как короткая журнальная статья, определяется, безусловно, коммуникативным намерением отправителя сообщения. Следует иметь в виду, что *“в формировании текста как единого целого определяющую роль играет его назначение, для чего, ради каких целей он создается”*. *“Назначение текста — это не нечто внешнее по отношению к его лингвистическим свойствам, а его внутренний ориентир и регулятор, который обуславливает и саму конструкцию текста, и его действие”* [2:5–6].

Короткая журнальная статья как разновидность публицистических текстов представляет собой взаимосвязь определенным образом организованных и стилистически маркированных языковых единиц, направленных на выполнение конкретного коммуникативного задания.

Необходимо отметить, что в организации языковых элементов в рассматриваемом типе текста прослеживается определенная связь с экстралингвистическими факторами.

Важнейшей экстралингвистической спецификой короткой журнальной статьи как типа текста публицистики является массовая коммуникация — тексты данного типа характеризуются, как правило, направленностью на массовую аудиторию. Данные тексты рассчитаны на читателя с самыми разными образовательными уровнями.

В качестве ведущего конструктивного принципа текстов рассматриваемого типа выделяют экспрессию и стандарт. Не менее важным конструктивным принципом может быть признана тенденция к компрессии.

Использование характерных средств в тексте коротких журнальных статей теснейшим образом связано с ведущими функциями данного типа текста — информативной и воздействующей, слитыми воедино.

Задача данной статьи — определить роль прагматически маркированных языковых средств разных уровней в интеграции текста короткой журнальной статьи, что позволяет рассматривать его как самостоятельное единство. Данная цельность текста обеспечивается смысловым и тематическим единством, а также общей модальностью и единой прагматической установкой.

Прагматическая установка публицистического текста находит свое языковое выражение в целой системе средств оценки на различных языковых уровнях:

- аллитерация, ассонанс, рифмосочетаемость, каламбур на фоносемантическом уровне;
- разговорная лексика (сленг), варваризмы на лексическом уровне;
- традиционные и окказиональные фразеологические единицы;

- виды вторичной номинации (метафора, метонимия, перифраз, ирония, эпитет, литота).

Оценка, в свою очередь, есть выражение наличия или отсутствия в объекте его положительной или отрицательной значимости. Она получает как эксплицитное, так и имплицитное выражение, через эмотивные компоненты значения, второстепенные и контекстуальные значения и коннотации. Такое чередование имплицитных и эксплицитных оценок образует внутри текста своего рода оценочную сеть, что способствует его интеграции.

Согласно конструктивному принципу публицистики экспрессивные средства обеспечивают эмоционально-экспрессивную разрядку стандартов - наиболее типичных для данного типа текста языковых элементов.

Функционально-прагматическая нагрузка языковых средств в короткой журнальной статье как типе текста распределяется следующим образом.

Особенностью плана выражения таких фоносемантических образований, как аллитерация, ассонанс, рифма, морфологический параллелизм, является созвучие, которое обеспечивается за счет соположения слов, обладающих сходством фонетического или морфемного строения.

Необходимо отметить, что в отличие от художественных текстов, в основном поэтических, данные стилистические образования в тексте короткой журнальной статьи являются лишь сопутствующими, дополнительными, они подчинены выбору слов, определяемому самим содержанием сообщения. Основная функция обыгрывания звукового подобия слов в различных проявлениях - повышение выразительности высказывания за счет особой организации звукового потока.

Существенной особенностью текстов короткой журнальной статьи является лексическая незамкнутость, тематическое разнообразие. В них идет речь обо всем, что имеет общественный интерес, актуальность: о политике, экономике, культуре, науке, быте и т.д. Данная тематическая многоаспектность и определяет тот разнообразный набор лексических средств, которые, в принципе, не имеют ограничений.

Необходимо отметить, что при способе номинации, отличном от нейтрального, в обозначение предмета вносится дополнительный характеризующий семантический оттенок, достигается необходимый прагматический эффект.

Реализуя основные прагматические функции публицистики - информирование и воздействие, лексические средства выполняют комплекс общих и специальных заданий.

Многообразие использования элементов разговорной речи (в частности, сленга) объясняется общей демократической окраской, простотой,

доступностью рассматриваемых текстов. Установка на так называемую "демократизацию" повествования влечет за собой использование лексики, доступной и понятной массе читателей со сниженным образовательным цензом. Исключительным образом характеризуется разнообразным тематическим диапазоном. Этот факт влечет за собой употребление книжной лексики (в част-

ности, популярных терминов из различных областей знаний). Присутствие терминологической лексики из различных сфер науки в данном типе текста способствует точности выражения понятий и явлений внеязыковой действительности, находящихся отражение в статьях журналов. Данные лексические средства с максимальной точностью передают факты из различных областей общественной жизни.

В таком лексическом средстве, как варваризмы, часто присутствует лингвострановедческий аспект, который отображает национально-культурные элементы данного языка. Кроме информативно-интеллектуальной функции, указанный пласт лексики способствует созданию определенного эффекта приближения ситуации.

Следя тенденции оптимального сочетания стандарта и экспрессии, в исследуемых текстах обнаруживаются как фразеологические единицы с нулевой экспрессивностью (фразовые клише, фразеологические сращения), так и фразеологические единицы с той или иной степенью экспрессивно-оценочной окраски.

Употребление первой группы фразеологических единиц является следствием тенденции к стандарту, характерной, как правило, для большинства публицистических текстов. Указанные фразеологизмы представляют собой готовые построения, которые существуют как стандартные формулы, имеющие характер книжно-деловой речи.

Клише, как правило, привычно и быстро декодируются читателем. Стандартность и стереотипность данных образований необходима для облегчения понимания сообщения.

Благодаря своим свойствам — образности, эмоциональности, оценочности — вторая группа фразеологических единиц способна выполнять в рассматриваемых текстах такие функции, как экспрессивная, функция придания убедительности сообщению, эмотивная, образно-выразительная, функция лаконизации речи, функция обобщения.

При выполнении первой из функций характер реализации экспрессивного потенциала фразеологизмов может быть различным: с сохранением традиционных структурно-семантических характеристик (узусная реализация) или с разного рода стилистической обработкой фразеологических единиц (оказиональная реализация). Последняя из указанных возможностей представляет собой хотя и осложненный, но более эффективный прием: реципиент, как правило, воспринимает контраст между трансформированной и первоначальной формами. Расположение фразеологических единиц в сильных позициях — начало и конец абзаца, текста — способствует реализации подготовительных установок текста, направленных на создание оптимальных условий для осуществления прагматического воздействия.

В зависимости от расположения фразеологизма в тексте могут быть достигнуты следующие прагматические эффекты. Поставленные в конец изложения или абзаца фразеологизмы обеспечивают сообщение ценными обобщениями, резюмируют предыдущие высказывания.

Фразеологические единицы, помещенные в начале изложения, как правило, дают возможность сопоставить последующий контекст с их содержанием, выступая в качестве зачина.

Безусловно, наибольший эффект достигается при использовании фразеологизма в заголовках. При этом фразеологизм является эксплицитно репрезентантом главного смыслового содержания сообщения, а имплицитно — способом привлечения читателя к прочтению статьи.

Функциональная нагрузка вторичных номинаций определяется тем фактом, что в отличие от первичных все вторичные номинации формируются на базе того значения слова, которое используется в новой для него функции называния, при этом происходит переосмысление его характеристик. Употребление данных языковых элементов определяется не их эстетическими параметрами, а основными прагматическими целеустановками, что находит выражение в определенных функциональных характеристиках.

Вторичные номинации соединяют в себе две функции: номинативную — указание на предмет и характеризующую — описание предмета, его оценка. Данные образования актуализируются контекстом как содержащие оценочные семы. Вторичные номинации предоставляют широкие возможности для выражения имплицитной оценки — на передний план выступает не столько называние предмета, сколько его характеристика, оценка, исходящая из намерений и установок отправителя сообщения. При этом отправитель дает дополнительную характеристику объекта на базисе оценивания данного объекта как отвечающего или не отвечающего традиционному, узуальному значению. Оценка выражается тогда, когда в характеризующем слове можно выявить семы одобрения/неодобрения или же когда возникают смысловые ассоциации, приводящие к положительному/негативному восприятию данного денотата.

В процессе коммуникации не вся потенциально содержащаяся в тексте информация передается эксплицитно, часть ее имплицитируется. Способ реализации коммуникативной целеустановки отправителя сообщения зависит от его интенциональной установки. Для текстов с явно выраженной пропагандистской направленностью, как правило, характерна эксплицитная форма выражения той части содержания, которая непосредственно важна для последовательного изложения концепции самого автора. В противном случае оценка дается отправителем сообщения в импликациях, а у читателя создается впечатление самостоятельной оценки явления в целом.

Среди основных функций импликации в короткой журнальной статье в первую очередь необходимо выделить функцию лаконизации речи, поскольку импликация является одним из средств компрессии информации, и эмоционально-оценочную, т.к. импликация способствует интенсификации сотворчества автора и читателя.

Конечный прагматический эффект текстов выделенного типа, как и всякого другого, не представляет собой механической суммы каких-то прагматически маркированных элементов, а вытекает из текста в целом. Объединение единиц разных уровней происходит на основании выполнения единой

коммуникативной функции – функции воздействия на читателя. Данные средства вступают между собой в тесные взаимоотношения, образуя целые комплексы изобразительно-выразительных единиц, направленные на достижение желаемого коммуникативного эффекта.

Литература

1. Колианский Г.В. Прагматика языка // Лингвистика и методика в высшей школе: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.М.Тореза. Вып. 151. М., 1980. 2. Хранченко Н.Б. Текст и его свойства // ВЯ. №2, 1985.

Т.В. Крысенко

Нормы речевого поведения в языковой картине мира

Образ говорящего, его взаимодействие с действительностью отражает оценка – ее членение на ценности и их вхождение в картину мира; она диктует, как следует и как не следует поступать, и потому становится прескрипцией и участвует в формировании социальных норм поведения [4]. Социальные нормы фиксируются не только в правилах, документах, нормативных актах, текстовых источниках; важный способ их осознания – значение слова, его коннотативные свойства, словарь языка. Специфика оценочной лексики, отражающей речевые нормы поведения, состоит в том, что они содержатся в лексическом значении языковых единиц в виде семантического признака, выявляемого при толковании.

Оценочное высказывание может выражать похвалу, одобрение, поощрение, комплимент, осуждение, удовлетворение, недовольство и т. д., соотносясь с «блоками психологических переживаний говорящего» [9:127].

Оценка противостоит не отсутствию оценки, а нейтральной оценке, объективности. Оценка – это не обязательно прямое указание на то, что хорошо или плохо. Уже сам факт вербализации некоторого содержания говорит о его значимости в мире или о его небезразличии для субъекта или адресата речи [7:94]. Характеризуя аксиологическое высказывание, Н.К. Рябцева указывает на сходные и отличительные особенности аксиологического высказывания, сообщения и речевого действия: «Подобно речевому действию, оно актуализирует прагматическую ситуацию и, подобно сообщению, приписывает ей некоторые свойства. В отличие от сообщения эти свойства не дескриптивны, а оценочны, и в отличие от речевого действия аксиологическое высказывание направлено не столько на изменение ситуации, сколько на выражение реакции на нее и апелляции к мнению адресата» [8:68].

Необходимо заметить, что последовательных и полных описаний систем ценностей в народных культурах практически нет, хотя народная аксиология была и остается предметом внимания исследователей духовной народной культуры, что бы они ни описывали. Реальный мир один, а идеальный мир

вариативен и распадается на множество эталонов идеала. Сравнение с идеалом (нормой) позволяет яснее увидеть и определить разнообразие отступлений от желаемого стандарта.

Как отмечает Н.Д. Арутюнова: «Мир состоит из несовершенств... Идеалы монтируются человеком из деталей, розданных разным владельцам...» [1:72]. Народная аксиология вбирает в себя эти многочисленные «детали». В «картине мира» имеется представление о том, что такое хороший/плохой человек, хорошее/плохое состояние, представление о своем и чужом, речевое поведение и т.п.

Внешняя форма планов лица наглядно характеризует его с различных точек зрения – многословия, бессодержательности (пусто – *пустомеля, пустоплет, пустозвон, пустобай*), неистинности, бахвальства, безудержного стремления распространить информацию как можно шире, передать ее многим, утвердить «первенство» в «знании», мнении, оценке (*болтун, говорун, ботало, байонда, празднослов, балаболка, балажник, бутурла, болтохваста* и т.д.).

Являясь эмоциогенным компонентом, внутренняя форма порождает резкие, отрицательные эмоции в оценке говорящего: пренебрежения, презрения, уничижения, отворачивания и т.д.

Резкость эмоций и «обытовленный» характер внутренней формы свидетельствует о высокой степени экспрессивности таких единиц. Причина избитости названий для болтунов кроется в яркой коннотированности живой народной речи, из которой многие подобные слова проникли в литературный язык. Народный язык очень живо и оперативно реагирует на отрицательные стороны общественной жизни, на отрицательные качества людей или целых общественных групп, на отрицательные действия и поступки. К положительным же явлениям жизни народная речь относится более спокойно: ведь это норма, обыденность. Данные народного языка не позволяют выстроить полный оппозиционный ряд дескриптивных оценочных единиц языка (говорун – молчун, враль – правдолюбец), т.к. номинаций и ФЕс положительной оценкой в языке, как известно меньше и приходится прибегать к прескрипциям: болтун, балаболка, пустомеля – содержательно и лаконично говорящий человек, соблюдающий этику в речевом поведении и т.д.

Насколько отрицательно отношение к болтливости, настолько положительно оценка молчания.

Молчание – это знак стоящего за ним содержания. Содержание слито с молчанием, как означаемое с нулевым означающим. Н.Д. Арутюнова считает, что «жизнь в единении с Богом порождает феномен исихазма – отрешения от мирской суеты и суетных речей» [2:114]. Эту мысль можно проиллюстрировать примерами из словаря В. Даля:

Кто молчит, не грешит.

Молчанье – золотое словечко.

Больше говорить, больше согрешить.

Меньше говорить, меньше греха.

Слушай больше, говори меньше.

Язык мой – враг мой.

Свой язычок – первый супостат.

Клю молчит, тот двух научит.

Сказано – серебро, не сказано – золото.

Сказанное слово – серебряное, не сказанное – золотое.

Чем больше («дольше») человек говорит, тем меньше делает, тем менее содержательна его речь, тем более она создает видимость активности, раскрывает неприглядные черты его характера (*пустословить* – заниматься бесплодными разговорами; *болтун*, *пустомеля*, *пустозвон*, *крикун*) и его истинные намерения (*критикан*, *кляузник*). Итак, в народной речи отражается отрицательное отношение к болтливости и излишней словоохотливости.

Бесструнная балалайка – неodobr. О болтуне, пустомеле. (*От него ничего вразумительного не услышишь, он – бесструнная балалайка.*)

Бросать слова на ветер – неodobr. Говорить впустую, необдуманно или безответственно. (*Петя не подведет, ведь он слов на ветер не бросает.*)

Выносить / вынести сор из избы – неodobr. Разглашать сведения о каких-либо неприятностях, касающихся узкого круга лиц (*Зачем ты выносишь сор из избы, зачем рассказываешь, что мы часто ссоримся?*).

Длинный язык – неodobr. Излишняя болтливость, разговорчивость. У кого-либо есть обыкновение распускать слухи, сплетни, разглашать чужие тайны. (*Твой длинный язык тебя когда-нибудь подведет*). Так, сказать «У него язык как помело» или «длинный язык» – значит выразить пренебрежительное отношение к субъекту речи, совершив тем самым речевой поступок.

Как известно, жизненные установки во многом национально специфичны. Они проявляются в ключевых концептах, отражающих мировосприятие. А. Вежицкая считает наличие большого количества аксиологических высказываний с иллокутивной силой осуждения и неодобрения (т. е. наличие ярко выраженной отрицательной этической оценки) характерной особенностью русской речи. А. Вежицкая объясняет повышенную эмоциональность русской речи и обилие в ней категорических оценочных суждений моральной и эмоциональной ориентацией русской души [3:83-84].

Как показывают наблюдения, в современной русской речи большой пласт составляют фразеологические единицы, представляющие собой высказывания деонтической модальности. Приказ, угроза, совет, предостережение в соответствующих формах повелительного наклонения (*держи язык за зубами*, *заткни фонтан*, *закрой рот*, *придержи язык*, *прикуси язык*, *не распускай язык* и др.), употребляющиеся в основном в коммуникативном акте непосредственного общения, допускают трактовку Вежицкой, что наличие подобных выражений связано с традиционной в истории России авторитарной и деонтической властью и о склонности русского характера к подчинению обстоятельствам [10].

Говорящий, вынося оценку речевому поведению адресата или побуждая его к действию, считает себя вправе контролировать ситуацию. Как бы используя свой авторитет, он подчеркивает свои отношения с адресатом и об-

ращается к нему с рекомендацией, советом, наставлением, упреком, запретом, осуждением или одобрением, например: *не бросай слов на ветер, не выноси сор из избы, не делай из мухи слона; не говори под руку* и др.

Оценочный характер высказывание носит в том случае, когда говорящий выражает оценку в форме факта и чаще по отношению к третьему лицу или ситуации. Так, например, *благим матом орать, кричать, вопить, реветь* (очень громко, истошно – говорится с неодобрением) можно сказать о ком-то третьем: *Мальчики повалились друг на друга, стукнулись головами, заорали благим матом* (В. Катаев, Белест парус одинокий).

О себе, в 1 лице, употребляется редко, только шутливо или с оттенком иронии: *Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель залывается изнутри* (М. Зощенко; Честный гражданин).

Объясняется это тем, что говорящий не подвергает свое его резким отрицательным оценкам [9:211-212]. Трудно представить себе самооценки типа «змеиный язык», «пустозвон», «балаболка». Сказать *Я перемываю косточки / роюсь в чужом белье* означало бы «Я предумышленно отношусь к себе с пренебрежением / презрением», но такого «нравственного самоубийства» обычный человек не совершает. Оценка перспективна – от ее выражения зависят дальнейшие отношения с адресатом – воздействие, взаимодействие, противодействие, она часто подразумевает ответную реакцию или изменение ситуации. Задаваемая ею модальность общения проявляет «прагматические свойства оценки, позволяющие сказать (выразить) больше, чем значат произнесенные слова, и воплотить неречевое – предметное (ситуативное) или духовное (ценностное) – взаимодействие объектов» [7:93].

Мир нельзя отделить от субъекта, а субъект – от шкалы ценностей и оценок. Речь – и универсальная, и коллективная, и индивидуальная ценность, своеобразный качественный параметр, вносящий свой вклад в организацию всех других ценностей. Изучение народной аксиологии помогает выявить наиболее значимые жизненные установки и их национальную специфику.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений / Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
2. Арутюнова Н.Д. Молчание: контексты употребления // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
3. Вежбицкая А. Язык, культура, познание. М., 1993.
4. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 1985.
5. Дале В.И. Пословицы русского народа: Сборник. В 2-х т. М., 1984.
6. Никитина С.Е. Типы языковой оценки в народно-поэтических текстах // Русский язык: Проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке (Виноградовские чтения) М., 1992.
7. Рябцева Н.К. Аксиологические модели времени. М., 1996.
8. Рябцева Н.К. Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
9. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
10. A. Wierzbicka. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. Oxford, 1992.

Понимая рекламу как продукт, произведенный в результате деятельности, целью которой является реализация задач промышленных предприятий, сервисных и общественных организаций путем распространения информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое и индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной аудитории, обратим внимание на роль и функцию метафоры в такого рода информации.

По мнению Рожкова И.Я. [3] реклама эффективна тогда, когда удовлетворяет следующим требованиям:

- 1) «делает акцент на новые и уникальные черты и свойства товара (мы понимаем этот термин расширительно), что является предпосылкой его успеха на рынке и наиболее действенной составляющей рекламной аргументации;
- 2) концентрирует внимание на главном, не усложняя, предлагает лишь то, что важно потребителю, и обращается непосредственно к нему».

Эти два условия в качестве составляющих входят в, так называемое, позиционирование: деятельность, направленную на создание товарам определенной позиции среди аналогичных товаров, существующих на рынке, своеобразной ниши, которая нашла бы отражение в иерархии ценностей, созданной в сознании потенциального покупателя. Проведение рекламных мероприятий с использованием позиционирования требует наряду с показом достоинств и преимуществ товара, формировать его образ особым путем – используя сведения, которые коренным образом отличали бы рекламируемый товар от конкурирующих. Это достигается за счет внесения «уникального торгового предложения», суть которого состоит в подчеркивании уникальных свойств товара либо в уникальности самого утверждения. Кроме того, анализ наиболее удачных рекламных текстов показывает, что потребителю нужны не товары как таковые, а удовлетворение с их помощью его потребностей, либо потребностей организации, которую он представляет. Требуется не холодильник, а хранение продуктов и так далее.

Функцию выделения и оценки этих свойств и реализует метафора. Рассмотрим механизмы реализации этих функций. Метафору как структуру удобно описывать с помощью языка фреймов. При таком подходе метафоризация предстаёт как совокупность формальных процедур над двумя фреймами. В этой связи представляется важным разделение метафор на структурные, где одно понятие упорядочивается в терминах другого (реклама – двигатель торговли, бридж – аэробика разума); ориентационные, где происходит организация целой системы понятий по образцу некоторой другой системы, имеется в виду прежде всего иерархическая организация (*высокая мода*; «*Наше радио*»; Финляндия – водка с *вершины мира*). В приведенных примерах общаксиологическая оценка возникает в соответствии с данными эмпирического, физического, культурного опытов (в каждой паре сравниваемых признаков пер-

вый соотносится с общей оценкой «хорошо», второй – с оценкой «плохо»). Корреляция, соответственно: верх – хорошо, напе – хорошо. Также, выделяются онтологические метафоры, генетически родственные ориентационным, где события, действия, эмоции и идеи трактуются как предметы и вещества. (Ваш проводник в мире информации; не всегда молчание – золото).

Оценка возникает в любых случаях, если денотат метафорически включается в ценностную картину мира. Небезразличным свойством оценки является ее эмоциональность/рационалистичность. Учет этого обстоятельства является значимым для характеристики товаров массового потребления, в отличие от специальных, узкофункциональных, сложно-технических и других, им подобных.

Для выражения этих различных интенций реализуются метафоры различного типа: в первом случае, как правило, образно-эстетические, собственно-оценочные, эмотивно-окрашенные или оценочно-экспрессивные, во втором – когнитивные, идентифицирующие субъекта либо реципиента оценки, которым может являться индивид, часть социума или социум в целом, с точки зрения которого производится/воспринимается оценка, причем ее категоричность зависит от субъекта. Безапелляционность оценки, принадлежность к индивидуальной сфере говорящего, эксплицитно выраженные в тексте, снижают ее; в то время как замена субъекта оценки-лица на субъект-общее мнение превращают оценочное высказывание в сентенцию. Существуют и другие способы влияния на оценку: деинтенсификация количества признака, ослабление истинности высказывания об оценке, кванторные слова, показывающие класс объектов, охватываемых оценкой.

Е.В. Вольф [2] формулирует это так: “В метафоре приобретают оценочные смыслы слова как имеющие, так и не имеющие оценочных коннотаций в исходных значениях. Это связано с тем, что метафорический сдвиг сопровождается и сдвиг в природе субъектов и их признаков – от мира вещей к миру человека”. При этом возникает специфическая проблема общеаксиологической таксономии: классификация происходит относительно объектов, свойства которых могут частично совпадать со свойствами, задающими противоположные классы.

Существует гипотеза “когнитивного притяжения”: “плохо” структурированный фрейм принимает структуру “хорошо” структурированного. Эффект балансирования в сфере когнитивного притяжения порождает эффект недискретности метафоры. Этот эффект проявляется в неограниченности множества следствий, в непредсказуемости следствий, необязательности реально вывода следствий в каждом конкретном употреблении, сочетаемости метафор с визуальным рядом, во внутренней противоречивости метафор ($a = b$ и одновременно $a \neq b$). Поэтому важными являются не количественно – качественные, а и иерархические отношения. Причем использоваться может как «стандартная», существующая в массовом сознании иерархия, так и иерархия «окказиональная», только что созданная или даже создаваемая. Иллюстрируя это положение, рассмотрим слоган «реклама – двигатель торговли».

Он являет собой структурную метафору, в структуру которой входят и положительные, и отрицательные свойства денотата, положенного в основу метафорического переноса. Итак, «двигатель» (в широком смысле) как «... некое механическое, не биологическое, приспособление, увеличивающее скорость какого-либо явления или процесса» обладает одновременно как «положительными», так и «отрицательными» характеристиками. В качестве «положительных» — возможность движения, скорость, управляемость; «отрицательных» — дороговизна обслуживания, ненадежность, опасность уничтожить кого-, что-либо при движении.

Важным моментом в оценке является влияние синхронных национальных картин мира, специфика которых базируется на своеобразии эмпирической и символической Вселенных различных народов мира. Употребляя термин «синхронная языковая картина мира» отдаем себе отчет в высокой абстракции этого понятия, складывающегося из суммы разнородных индивидуальных картин. Условность определенной языковой картины мира является следствием сочетания общечеловеческих констант психического отражения и специфических культурных особенностей. Учет особенностей национальных картин мира реализуется в межкультурной коммуникации, в коммуникации внутриэтнической играет роль различие в «словных», возрастных, половых и так далее картинах мира. «Имидж — ничто, жажда — все». Хотя имидж занимает высокое место в молодежной ценностной картине мира, жажда признается более важной, подчеркивается возможность ее полноценного удовлетворения. Таким образом, происходит создание системы ценностей, ее переформатирование. «Венитан. Молодость ваших ног». Молодость оценивается положительно средним и старшим поколением, для молодежи это норма.

В заключение обратим внимание на то, как в рекламе различными способами происходит структурирование нашего чувственного восприятия, создание искусственных построений действительности, изменяющих наши традиционные впечатления о чем-либо. Для нас, как реципиентов, это дистинктивные художественно-ценностные единицы и, одновременно, культурные диспозитивные документы восприятия, поскольку мы подвергаемся информационному воздействию и с трудом можем избежать влияния внушаемой картины мира.

Анализ рекламных текстов в аспекте используемых в них языковых способов создания их особой образности может сделать эти суггестивные картины мира вполне просматриваемыми и доступными для понимания механизмов функционирования метафоры как средства конструирования, моделирования особой «рекламной» картины мира — «мира внушаемых ценностей».

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка. М., 1989.
2. Вольф Е.В. Оценка, событие, факт. М., 1985. 3. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. М., 1994.

О.Ф. Кучеренко

До питання про сучасну українську пожежно-технічну терміносистему

Сучасну українську пожежно-технічну терміносистему можна вважати, на наш погляд, достатньо окресленою. Аналіз сучасної терміносистеми, яку можна визначити як «Пожежна справа», дає підстави досить прозоро виділити в її межах такі за змістом складові: «пожежна тактика», «пожежна автоматика», «пожежна профілактика», «пожежна техніка», «організація пожежно-профілактичної роботи та служби».

Українська пожежно-технічна терміносистема не знайшла ще свого дослідження в українському термінознавстві. Потребують свого розгляду нормалізація й стандартизація зазначеної терміносистеми.

Наші міркування присвячені проблемі нормалізації окремих ключових термінів цієї терміносистеми. Усі можливі аспекти аналізу пожежно-технічної терміносистеми не можливі без вирішення питань нормалізації. Нормативність в термінології спирається на закони розвитку та функціонування конкретної терміносистеми. Вона не може також не зачіпати норми загальної літературної мови й, що надзвичайно важливо, повинна відповідати законам національної мовної системи.

В українській літературній мові одним із критеріїв нормативності мовної одиниці виступають матеріали загальних тлумачних словників. Завдання укладачів таких словників не полягає в представленні термінів (зрідка можна побачити позначку «спец.»), а тим більше термінологічних сполучень. Словники подають загальновживані слова, які переходять до певних термінологічних систем за конкретних умов. Існує суттєва різниця між подаванням загальновживаного слова і слова-терміна, що функціонує в професійному мовленні (письмовому та усному). Ми вбачаємо різницю у тому, що письмові професійні документи (наприклад, державні технічні стандарти) укладають насамперед фахівці професійної галузі. Їхньою метою є подання однозначних визначень певних термінів, не припускаючись помилок на понятійному рівні. Але через неузгодження із законами саме української мови виникають помилки.

Значна кількість помилок зумовлюється інтерферентними явищами російської та української мовних систем протягом багатьох десятиліть. Усне професійне спілкування, звичайна річ, не може бути цілком унормованим (діють закони розмовного стилю), але і воно відчуває вплив російсько-українського білінгвізму.

Спробуємо проаналізувати особливості розвитку нормативного функціонування окремих ключових термінів пожежно-технічної терміносистеми. Візьмемо термін *пожежник*. «Словник української мови» подає таке тлумачення терміна *пожежник*: «*Пожежник*, а, ч. Працівник пожежної команди; *пожарник*, *пожарний*. Коло палаючого будинку пожежник (Ю. Янов; V, 1959, 169» [6:773]. (У даному випадку і далі підкреслення наше – О.К.).

«Пожарный 2. у знач. іменника пожарный, ного ч. Те саме, що пожарник» [6:770].

Необхідним, на нашу думку, є порівняння тлумачень цього терміна у російських словниках. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. - Даля подає такі слова на позначення «особа за фахом»: «Пожарный 3. в знач. суш. м. Тот, кто входит в команду, занимающуюся тушением пожаров» [1:234]. «Пожарник а, м. Разг. То же, что пожарный (в 3 значении)» [1:234]. Як бачимо, слово *пожарник* має примітку, яка вказує на розмовне вживання. А от «Словарь современного русского языка» подає слово *пожарник* як унормоване: «Пожарник а, м. Работник пожарной команды, лицо, наблюдающее за противопожарной безопасностью учреждения, предприятия» [4:734].

У російській науковій пожежно-технічній літературі та усному спілкуванні вживається як нормативне тільки слово *пожарный*. Слово *пожарник*, якщо і використовується, то завжди має негативну оцінку. Ми спостерігали вживання слова *пожарный* у значенні «особа за фахом» у російськомовній професійній сфері в усному спілкуванні (збори, наради, засідання, вітання, виступи) і в писемному (різні види документів, спеціальна методична література, наукові статті).

Україномовна ж професійна сфера вживання терміни *пожежник*, *пожарник*, *пожарный* відрізняє насамперед з точки зору частоти використання (термін *пожежник* є більш частотним, особливо у писемному спілкуванні, а термін *пожарник*, *пожарный* - менш частотним). Досить часто зустрічаємо також і слово *пожежный* у значенні слова «особа за фахом».

Усне українське професійне спілкування найчастіше подає нам слово *пожежный* у значенні «особа за фахом», а не *пожежник*, *пожарник*, *пожарный*. «Словник української мови у словниковій статті «*пожежный*» не має відповідного значення: «Пожежный, а, -е. 1. прикм. до пожежа. // Призначений для повідомлення про пожежу. // Призначений для гасіння пожежі. // У якому зберігається знаряддя, призначене для гасіння пожежі. // Призначений для спостереження за виникненням пожежі. 2. стос. до пожежі 3. перен. Дуже поспішний, що вимагає негайної дії [6:400]. Суфіксальний морф -ник на позначення «особа за фахом» є для сучасної української мови продуктивним, повністю відповідає морфологічним нормам. А тому вважаємо використання терміна *пожежный* у відповідному значенні не зовсім доречним через те, що морфологічна модель його утворення не є продуктивною для української мовної системи (це скалькована з російської термінологічна одиниця).

Отже, нормативність термінів повинна зумовлюватися семантичними та морфологічними нормами конкретної мовної системи. Вона, на нашу думку, не можлива без урахування законів ще й термінологічної сполучуваності. Можна спостерігати досить виразну різницю у термінологічній сполучуваності термінів «пожежный» і «пожарный». Так, наприклад, зустрічаємо тільки *автомобіль пожежный*, *обладнання пожежное*, *драбина пожежная*, а не *автомобіль пожарный*, *обладнання пожарное*, *драбина пожарная*. Таким чином, термін *пожарный* може вживатися тільки як субстантивований прикметник.

Фахові тексти фіксують подвійне вживання словосполучень, які називають одяг: *одяг пожежного/ одяг пожежний, костюм пожежного/ костюм пожежний, каска пожежного/ каска пожежна, пояс пожежного/ пояс пожежний, рукавички пожежного/ рукавички пожежні, чоботи пожежного/ чоботи пожежні*. Ми вважаємо не досить доречним використання зазначених словосполучень у значенні абсолютних синонімів. Словосполучення *одяг пожежного, костюм пожежного, каска пожежного* та подібні є частіше використовуваними, але не є прийнятними через те, що термін *пожежний* у значенні «особа за фахом» не унормований. На нашу думку, більш доречними є словосполучення типу *одяг пожежника, костюм пожежника, пояс пожежника* та ін., тому що вони стосуються назви особи за фахом та речей, які їй належать. Сполучення ж типу *одяг пожежного, костюм пожежного, каска пожежного* не зустрічаються в україномовній професійній сфері вживання, хоча *пожежарний* і *пожежарник* за даними словників виступають як абсолютні синоніми. Другим компонентом словосполучень *костюм пожежний, пояс пожежний* і т. ін. є прикметник *пожежний*. Цей прикметник має одне із значень «призначений для гасіння пожежі», тобто знаряддя, яке використовується. Уживаючи зазначені термінологічні словосполучення, слід враховувати семантику кожного компонента словосполучення і контекст (пор. *рукавички пожежника* – належать особі, пожежнику; *рукавички пожежні* – знаряддя для гасіння пожежі).

Ми вважаємо також за необхідне враховувати і суто професійне вживання деяких термінологічних словосполучень. У російській та українській мовах є слово *шланг*. Воно запозичене з німецької мови. «Словник іноземних слів» дає таке визначення слова: *Шланг* (нім. *die Schlange*, букв. змія, гнучкий рукав або труба, якими перемішують рідини і гази) [5:750]. Наведемо словникову статтю до слова «шланг» у «Словнику української мови»: «*Шланг*, а, ч. *гнучка труба для підведення, передачі, всмоктування і т. ін. рідини, сипких тіл, газів тощо. Товстий шланг, захлинаючись, уже смоктав з одного водозабірника воду* (М.Ю. Тарн., Незр. Горизонт, 1962, 115) [6:488].

Слово *шланг* за наведеними словниковими статтями може позначати елемент пожежно-технічного обладнання. Але воно не використовується ні в російській, ні в українській пожежно-технічній терміносистемі, взагалі вважається образливим, на думку фахівців пожежної справи, тобто не зустрічаємо словосполучення *шланг пожежний* у фахових текстах, тільки *рукав пожежний*, хоча словники тлумачать ці терміни як синонімічні. Наприклад, «Словарь русского языка» С. І. Ожегова: «*Шланг* - гибкая труба для отвода, всасывания, переливания и т.п. жидкостей и газов. Пожарный ш.» [3:824].

Важливим є питання про особливості структурної організації термінологічних сполучень. Звернімося до аналізу складових елементів деяких двоконпонентних термінів пожежно-технічної терміносистеми: *автомашина пожежна, автомобіль пожежний, машина пожежна*. Загальні технічні терміни (прилади, пристрої, установки, механізми), що мають відношення до техніки взагалі, сполучаються із компонентом «пожежний». Він звучує,

конкретизує значення загального технічного терміна, утворюються термінологічні словосполучення, які належать до пожежно-технічної терміносистеми: не машина взагалі, а пожежна машина, не літак, а пожежний літак, не техніка, а пожежна техніка. Зрозуміло, що за структурою реєстровим словом цих двокомпонентних терміносполучень є іменник, що вживається у прямому значенні. Ці терміносполучення характеризують не тільки пожежну техніку (не існує хіба що ракети пожежної), але й пожежне обладнання (*сокира пожежна, лом пожежний, драбина пожежна, багор пожежний* і т. ін.).

Зазначимо, що двокомпонентні терміни пожежно-технічної терміносистеми, навіть коли вони є структурно однаковими (масо на увазі реєстрове слово іменник + прикметник), різнірідні. У вищезазначених двокомпонентних термінах реєстрові слова-іменники вживались у прямому значенні.

Надзвичайно цікаву групу двокомпонентних термінів становлять такі, де реєстрове слово вживається у переносному значенні. Серед цих термінів слід назвати: *рукав рятувальний, головка пожежна, подушка рятувальна, озброєння рукавне* та ін. Слід зазначити, що не всі тлумачні словники української мови фіксують вживання у переносному значенні слів, які стають реєстровими. Деякі з них подають тлумачення з приміткою «спец.» (спеціальне). Метафоричне перенесення загальноновживаного слова у складі термінологічного словосполучення відбувається різними шляхами: за формою, наприклад, у терміносполученнях: *коліно рукавне, рукав рятувальний, ствол рукавний, подушка рятувальна, матрац рятувальний*, за формою і функцією, наприклад, *катушка рукавна, касета рукавна, місток рукавний*. Інколи утворення термінів *головка пожежна, місток рукавний* здійснюється неморфологічним способом, зокрема лексико-семантичним.

Велика кількість трикомпонентних термінів теж має у своєму складі спільний компонент – «пожежний». Шляхом додавання до двокомпонентного терміна (іменник + прикметник «пожежний») ще одного прикметника або дієприкметника формується конкретний термін, що характеризує певне наукове поняття: *автомобіль пожежний, сітка пожежна всмоктувальна, сокира пожежна поясна*.

Трикомпонентні терміни ми подаємо тут, зазначаючи першим реєстрове слово, а потім вже означення до нього (тобто як більшість сучасних термінологічних словників). У фахових текстах, зрозуміло, відповідно до норм синтаксичного зв'язку української мови, означення передують реєстровому слову.

Дуже часто фахові пожежно-технічні тексти фіксують термінологічні словосполучення з різним розміщенням складників. Можна зустріти термінологічне словосполучення *пожежний ручний автомобіль та ручний пожежний автомобіль*. Таке не зовсім чітке вживання термінологічних словосполучень є, на нашу думку, не дуже доцільним. Більш точним ми вважаємо вживання спочатку більш узагальненого поняття, а потім менш узагальненого (пор.: *пожежний* (більш загальне) *ручний* (менш загальне) *інструмент*).

Підсумовуючи викладені зауваження щодо сучасної української пожежно-технічної терміносистеми, можемо зазначити, що її окресленість серед

інших терміносистем української наукової мови потребує перш за все нормалізації та стандартизації. Звичайно, що нормалізація повинна охоплювати семантичний, морфологічний, структурний, мовленнєвий аспекти. Але вона мусить «діяти» за законами саме української мовної терміносистеми.

Література

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1980.
– Т.3. 2. *Новий російсько-український словник-довідник.* К., 1996. 3. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1978. 4. *Словарь современного русского литературного языка:* В 17-ти т. М.-Л., 1975. Т.10. 5. *Словник іншомовних слів.* К., 1977. 6. *Словник української мови:* В 11-ти т. К., 1978. Т.6.

Н.О. Лапухіна

До питання про створення словника харчової промисловості

Для сучасного розвитку української мови характерні кілька тенденцій, з-поміж яких можна виділити, насамперед, ті, що пов'язані із динамікою професійної лексики і спеціальної термінології. Цей процес зумовлений як мовними, так і позамовними чинниками. Серед останніх назвемо розбудову незалежної держави, поступове, але невпинне впровадження української мови в наукову сферу. З того часу, коли українська мова набула статусу державної (1990 рік), наука і виробництво поступово, але неухильно переходять на національну спеціальну лексику. У зв'язку з бурхливими темпами технологічного та наукового процесу в усіх галузях нашого життя, а також необхідністю оперативного обміну інформацією, зростає роль і значення лексикографічних досліджень, присвячених створенню галузевих словників. Паралельно з розбудовою української лексики йде її концептуальне осмислення мовознавцями, представниками різних технічних та природничих дисциплін.

Останнім часом видано серію спеціальних словників, наприклад: військової, юридичної, будівничої, хімічної, медичної термінології тощо.

На жаль, поза увагою науковців залишається така важлива ділянка, як харчова промисловість. Необхідно відзначити, що сьогодні вже існують дослідження, які висвітлюють ті чи інші аспекти даної теми. Це, передусім, праці мовознавчого характеру: 1) дисертаційне дослідження Козиревої З.Г. "История названий продуктов питания и пицци в украинском языке" (К., 1984); 2) дисертаційне дослідження Крижко О.А. "Развиток семантики побутовой лексики украинских летописей конца XVII – начала XVIII ст. (Назвы їжі, напоїв, продуктів харчування)"; історико-етнографічні та етнографічні розвідки, зокрема: Артюх Л.Ф. "Українська народна кулінарія" (К., 1977); Дутко М.М. «Українські народні страви Галичини: історія, традиції, рецепти» (Львів, 1998). У книзі "Українські страви" (К., 1964) подано відомості з історії розвитку української кухні.

Крім того, є спеціальні роботи, збірники рецептур, куховарські книги, присвячені українській кулінарії, серед них: підручник Доцяк В.С. "Українська кухня: Технологія приготування страв" (К., 1995); 2) навчальний посібник Карсекої В.В., Скрипки Л.М. "Страви української кухні" (К., 1993); 3) Українська стародавня кухня /Упорядник Т.Д.Шпаковська/ (К., 1991); "Страви й напої на Україні" Клиновецької З. (К., 1991); 5) Шалімов С.А., Шадура О.А. "Сучасна українська кухня" (К., 1984); 6) "Рецептура і технологія приготування страв української кухні" (К., 1968).

Проблема нормалізації української національної харчової номенклатури є важливою і для професійної освіти. Особливо гостро проблему створення української харчової термінології відчують викладачі. Викладання фахових дисциплін рідною мовою у навчальних закладах, орієнтованих на харчову промисловість, можливе лише за умов розроблення національної термінології. Неуніфікованість термінології харчової промисловості негативно впливає як на якість навчального процесу у технічних вузах, так і на розвиток галузевої науки в цілому. Тому чимало викладачів таких вузів займається проблемами перекладу й упорядкування лексики харчової промисловості. Наприклад, при Харківській державній академії технології та організації харчування видано "Російсько-український словник термінів з технологічного устаткування підприємств харчування та торгівлі" (К., 1996), який містить 400 термінів, а також методичний матеріал "500 термінів російсько-української лексики з холодильної техніки та технології харчових виробництв" (Харків, 1997).

Проблеми упорядкування лексики в галузі харчової промисловості можна розглядати у двох аспектах. З одного боку, це відродження лексики традиційної української кухні, що стосується цілком назв їжі, напоїв, страв і технологічних прийомів давно відомих. Із другого — синтез нових термінів прогресивних сучасних технологічних процесів, де українськомовна термінологія була відсутня.

Пропонований до обговорення словниковий проект немає аналогів у вітчизняній лексикографії. Лексичні одиниці, що мають увійти до словника, містяться або в посібниках, або в пам'ятках, доступ до яких іноді обмежений. Таким чином, актуальним є створення словника, в якому б було зафіксовано лексичні одиниці національної української кухні і здобутки сучасної харчової промисловості.

У статті "Негайна справа в розвитку української науки й школи" О. Янат зазначив, що слід, передусім, "вибрати з гупі народної мови всі ті назви, вирази, терміни, які мають відношення до тої чи тої галузі знання" і тільки потім удаватися до "літературного матеріалу" [2].

Основним джерелом при складанні такого словника повинні стати сучасна література з харчової промисловості (підручники, навчальні довідники, посібники, спеціальні монографії, енциклопедичні словники тощо).

Основним завданням авторів такого словника має стати не тільки унормування української лексики харчової промисловості, а й використання, пе-

редусім, невичерпних багатств української мови (наприклад, усім відомі слова: *вареники, вергуни, галушки, гречаники, пампушки, соложенки, куліш, кутя, узвар, мамалига, кукурудзянка, товченка, холодник, капуста, юшка, крученики, січеники, холодець, киселиця, повидлянка, паска, плетеники, мокруха, слив'янка*); використання мови фольклорних творів та давніх українських письменників; використання лексичних одиниць, зафіксованих в історичних пам'ятниках української мови. Укладачі словника повинні враховувати і такий фактор, як відбиток діалектних мовних особливостей.

Словник має містити в собі терміни таких підрозділів харчової промисловості: м'ясної, рибної, молочної, маслоробно-жирової, борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, спиртової, лікеро-горілчаної, виноробної, пивовареної, тютюнової, плодоовочевої, виробництва концентратів та вітамінів.

Відповідно до цього лексика і термінологія словника повинна охоплювати:

- 1) назви харчових продуктів, сировинних матеріалів та напівфабрикатів;
- 2) назви машин, установок, апаратів, приладів та різних видів обладнання підприємств з виробництва харчових продуктів.

Сюди повинна увійти також термінологія з холодильного зберігання харчових продуктів, з методів дослідження харчових продуктів, тари та пакувальних матеріалів.

Словник розрахований та орієнтований на фахівців з різних галузей харчової промисловості, наукових працівників, викладачів і студентів технічних вузів з відповідною професійною орієнтацією.

Література

1. Культура питания: Энцикл. справ / Под ред. И.А. Чаховского. Мн.: БелЭ, 1992. 541 с.
2. Яната О. Негайна справа в розвитку української науки й школи // Промінь. 1917. – № 7-8.
3. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології. К., 1998. 264 с.

Н.О. Лисенко

Символіка червоного та чорного кольорів у поетичній мові Тодося Осьмачки

Об'єктом нашого дослідження є поетичний символ та його функціонування у поезії Т. Осьмачки.

У 19 столітті до символів звертались М. Царетелєв та М. Максимович, М. Костомаров та О. Потебня.

М. Костомаров першим розглянув джерела утворення символіки та естетично-емоційне значення найбільш поширених образів-символів. Він вважав, що символи виникають під впливом трьох факторів:

1. Природних особливостей предметів (дуб-могутність).
2. Вживання у побуті, їжі, напоях, обрядах (калина).

3. Використання у міфічних і традиційних сказаннях, віруваннях (зозуля – сум, жінка в тузі) [1:21].

М. Максимович визначає символ як емблему окремих станів духу [1:21]. М. Костомаров вбачає у символі предмет, що набуває духовного значення [1:24]. Незважаючи на різнобічний підхід до тлумачення поняття символу, до сьогодні не існує загальноприйнятого його визначення.

Г. Дима пропонує таке визначення: «*Народнопоетичний символ* – це інакомовний образ з поетичною образною семантикою, який виник історично і служить цілям ідейно-поетичного пізнання дійсності» [1:21].

Дослідник виділяє такі тематичні групи реалій, що стали підґрунтям для створення символів:

4. Рослини.
5. Птахи.
6. Звірі.
7. Атмосферні явища.
8. Побутові речі.
9. Людська зовнішність.
10. Барви.
11. Різноманітні дії

«Художній символ завжди є образом, який зберігає тісний зв'язок із зображуваним, в образі-символі знаходять втілення життєві спостереження митця. Як і всі засоби поетичної мови, поетичні символи характеризуються смисловою місткістю, багатозначністю, глибиною змісту та емоційністю», – зауважує В. Калашник [4:19].

Використовуючи народнопоетичні символи, автор може обрати їх не у готовому вигляді, а переосмислювати відповідно до завдань зображуваного, до настрою, до переконань чи власного світобачення.

Вибір реалій для створення образу, на основі якого виникає вторинна символіка, і відбиває індивідуальність митця.

Залежно від особливостей творчої уяви, сприйняття себе у навколишньому світі митець може використовувати кольорову, рослинну чи якусь іншу символіку.

Нашу увагу привернула цікава для української ментальності символіка кольороназв, зокрема червоного кольору.

Вибір теми визначається природою поетичної творчості Тодося Осьмачки і органічно пов'язаний з особливостями художнього мислення поета, втіленими в різних за будовою та семантикою поетичних образах. Про символізм Тодося Осьмачки свого часу писали О. Дорошкевич, С. Єфремов, Є. Маланюк і наголошували на біблійному дусі поетичного світу, «грандіозно-космічних туманних образах», таємничій символіці, називали поета символістом [3:8].

Творчість Тодося Осьмачки (1895-1962) являє собою унікальне явище в українській літературі, багато в чому не вивчене. Тільки зараз, через багато десятиріч, широка громадськість країни має змогу познайомитись із твор-

чістю талановитого українського поета. У тридцятих роках його не раз заарештовували, катували на допитах. Завдячуючи щасливому випадкові, він опинився на волі, згодом виїхав на Захід, де написав ще немало чудових творів. Зрозуміло, що творчість поета-емігранта не могла бути досліджена вітчизняним мовознавством у роки репресій і тоталітаризму.

Справді, в цю яскраву мистецьку палітру, якою так ефектно виграла епоха 20-х років – доби національного культурного відродження, Тодосеві Осьмачці нелегко було вишести свою оригінальну поетичну барву. Майже кожен твір поета насичений образами-символами. Так, у ранніх збірках знаходимо передчуття кривавих жнив: кривавий знак уявляється в образі веле-тенської борони, двох труп, розп'яття і Голгофи.

Поет майстерно використовує різні засоби створення поетичної лексики. Одним із засобів поетизації є використання та створення оригінальних слів-символів.

Фактичний матеріал взято із збірки поета «Круча». Переосмислені розумом та уявою поета, перед нами постають реалії революції та громадянської війни. Ці дві історичні події містифікують у Т. Осьмачки в символічних образах жаху.

Кривавий знак, немов тавро, являється перед читачем у експресіоністській формі вираження.

Кривавий (червоний) колір домінує. По тому, який відтінок червоного кольору обирає поет до своєї мистецької палітри, можна зрозуміти, що для Тодося Осьмачки революція – братовбивче, антигуманне явище.

У народній поезії червоний колір (колір крові) має позитивне значення, сприймається як символ життя, життєдайності, краси і кохання.

В авторській інтерпретації червоний колір символізує криваву смерть, фактично, семантичне поле «червоного» кольору перехрещується із семантичним полем «чорного». «Чорний» і «червоний» у Тодося Осьмачки утворюють синонімічний ряд, стрижень якого – смерть.

«На персах землі-

гора,

у важке небо зорям

з сонцем

впира чолом.

Од п'ят гори до зір небесних -

На горі в туманах -

Хрест...

По дереву муки

із ран людини стікає кров.

Ріками рине

з горя по стегах,

в моря криваві
вицертъ» [5:20].

Центральним образом-символом кривавої містерії є хрест-розп'яття. Це традиційний біблійний символ, багато разів вживаний різними поетами, але в Тодося Осьмачки семантика символу значно розширюється. Перед нами не трагічна загибель однієї людини, а страждання всього людства. Це значення підсилює і створена поетом панорама Землі у космічному безмежжі.

У наведених рядках і «криваві тумани», і «моря криваві» символізують смерть і страждання. «Туман» – традиційний народнопоетичний символ, співвідноситься із сумом, печаллю, лише підсилює кривавий знак смерті. І хоч вірш «Хто» присвячений пам'яті трагічно загиблої конкретної людини, символ розп'яття надає трагедії планетарного масштабу, бо за долею однієї людини стоїть доля цілого народу.

Жахливий образ країни-табору створює поет у наступному вірші:

«З африканської пустелі
видно у димах
примару світову
коло Києва в степу -
гуральню!
На вратах горить ліхтар.
Розпускає світ кривавий...
Люду силу незліченну
гонять чорним сном
виробляти пиво» [5:24].

Центральний образ поезії – гуральня – демонічна машина смерті для переробки людських тіл, знищення особистості. «Червоний ліхтар» – це символ жорстоких чисток, невинних смертей, загублених надій. Це – попередження іншим країнам. «Чорний степ» – це дорога до насильницької смерті, духовної чи фізичної, оскільки, крім цієї дороги (степу), жертви не мають вибору.

Поезія «Цить, моє серце!» має кілька центральних образів-символів. «Син» є символом страждання і смерті за власні переконання. Цей образ асоціюється з образом Христа, з образом Прометея, а для Осьмачки – з сучасною йому Україною; і тоді перед нами постають в особі міфічного сина долі тисяч найкращих синів Вітчизни.

«Житом хотів би засіять долини
і зорями гори,
мов росяним рясом...
Та в хмарах над миром,
на тім'ї гори до скелі
його прикували
люди з чорних печер» [5:26].

Уособленням смерті і страждань є «люди з чорних печер». Тут маємо традиційне значення чорного кольору. Перед нами постає символ абсолютного зла, створений в уяві поета подіями 20-х років.

Стилізованим під мову народних балад є вірш «Війна»; де зустрічаємо і традиційну народнопоетичну символіку:

«Чом , сину, зажурився,

ніби вечір похилився

аж од хмари, аж до лану

на могили та церкви,

на яри...

в ріку криваву,

що полоще черепи і кістяки,

наче криги биті, ламані

шматки?» [5:27].

Образ *кривавої ріки* – насильницької смерті – спостерігаємо ще у фольклорі:

«Ой у тої Мар' януші вишига мережка,

А де везли Базилевців – кривавая стежка.

Ой у тої Мар' януші червоная стрічка,

А де везли Базилевців – кривавая річка» [2:174].

Маємо цей символічний образ також у поетичній мові Т.Шевченка: «І потече сторіками кров у сине море» [6:287].

У Тодося Осьмачки образ кривавої ріки – символ трагічної, жорстокої смерті, вона затоплює Україну. Якщо зіставити два образи-символи «гуральню» і «криваву ріку», то стає зрозумілим, що остання є наслідком першої. Більшовицька влада уявляється поетові у вигляді диявольської машини, яка й точить кров з його близьких.

Власне авторська інтерпретація поетичного символу полягає у розширенні семантичного поля «кривавої ріки» від кольороназви через значення «страждання», «смерть» до семи «трагедія».

«Хлюпають ріки криваві в долинах віків

у круті костяні береги із людей,

і бризкає кров аж у стелю світів» [5: 28].

«... із крапель кривавих зростають зірки» [5:29].

Останній приклад є квінтесенцією створення планетарної картини нелюдської жорстокості, катувань, вбивств, але у той же час «народження» зірок із крапель крові загиблих свідчить про віру поета у відродження їхніх душ в іншому вимірі.

І хоч наші спостереження – лише початок більш докладного аналізу поетичної мови Тодося Осьмачки, можемо зробити такий висновок: для поета характерне своєрідне сприйняття семантики червоного кольору – від загаль-

ноприйнятого, усталеного, здавна використовуваного значення символу до власного, індивідуально-авторського його сприйняття.

Література

1. Дима Г. Народнопоетична символіка та її використання у творчості письменників // УЛМШ. 1973. №5. 2. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. К., 1989. 3. Жулинський М. Приречений на самотність// Тодось Осьмачка. Вибрані твори. К., 1991. 4. Калашиник В. Особливості слововживання в поетичній мові. Харків, 1985. 5. Осьмачка Тодось. Вибрані твори. К., 1991. 6. Шевченко Т. Твори: У 5-ти т. Т. 1. К., 1984.

О.О. Литвиненко

Особливості дієслівних форм “Книжиці для господарства” (1788)

Писані пам'ятки української мови становлять цінне джерело для вивчення історії української мови. Наше дослідження присвячене особливостям дієслівної системи почайвського стародруку “Книжиця для господарства” (1788). Текст цієї унікальної пам'ятки опублікований О. Горбачем у серії “Матеріали до української діалектології” (Мюнхен, 1985) [7]. У стародрукові є написана польською мовою передмова (с. 1-8, тут і далі див. [7]), а також подано кирилицею на с. 9-97 ветеринарні й господарські поради. На с. 97-110 передано польською латинкою деякі розділи кириличної частини й додано інші поради. Як зауважує О. Горбач, народно-діалектною базою “Книжиці...” є східноpodільський говір, причому за мовно-діалектною приналежністю кириличного тексту автор, можливо, походив із Гайсина – Умані [2:34].

Слід відзначити, що мова “Книжиці...” досі ніким не вивчалась, принаймні ніяких відомостей в україністиці про неї немає.

У даній статті ставимо за мету розглянути ті граматичні категорії дієслова “Книжиці...”, в яких найяскравіше воно (дієслово) себе виявляє. Перш за все звертає на себе увагу категорія виду, яка, як уже й у попередніх пам'ятках української мови [1:129], набула того рівня розвитку, який характеризує сучасне українське дієслово. Це розмежування форм теперішнього і простого майбутнього часу, заміна імперфекта й аориста перфектними формами, виникнення ще однієї дієслівної категорії – дісприслівника тощо.

Оскільки пам'ятка є своєрідним господарським порадищем, не всі способи дієслова через жанр пам'ятки представлені однаково повно. Це ж можна сказати і про особові форми.

ДІЙСНИЙ СПОСІБ

1. Форми теперішнього часу

Пам'яткою не засвідчені форми 1 ос. одн. і мн., отже, не можемо говорити про їх особливості. Форми 2 ос. одн. у пам'ятці, як і в сучасній українській мові, закінчуються на твердий [ш] (графічно - шь): мѣсишь (с. 12, 37),

госпоришь (с. 73), мавишь (с. 34) та інші. Форми 2 ос. мн. у пам'ятці не зустрічаються. Для 3 ос. одн. характерний у закінченні депалаталізований [т] (графічно -т, -тъ), причому не тільки в дієсловах II дієвідміни (у яких у сучасній українській мові наявний м'який [тʲ]): *бои́тъ* (с. 20, 53, 97), *бои́тсѧ* (с. 79), *ричи́тъ* (с. 54), *идѣ́тъ* (с. 54) та ін., - а й навіть у дієсловах I дієвідміни (в яких у сучасній українській мові -т відсутнє): *бѣѣа́тъ* (с. 25, 26, 30, 32), *вздѣ́хають* (с. 54), *выпра́вляють* (с. 78), *выпа́дають* (с. 41), *вста́ють* (с. 10) та ін., усього 102 приклади. У пам'ятці також зафіксовані й форми дієслів I дієвідміни 3 ос. одн. без кінцевого -т, але їх значно менше: *сѧ зо́ве* (с. 72), *хо́че* (с. 63, 107, 89), *вѣ́е* (с. 78) та ін., усього 15 випадків. Щодо 3 ос. мн., то тут також засвідчені закінчення з твердим [т]: *ко́шѣю́тъ* (с. 95), *бѣ́вають* (с. 14), *сѧ ро́бають* (с. 55), *пѣ́ю́тъ* (с. 96) та ін., усього 66 разів. Наявність флексійного твердого [т] у 3 ос. одн. і мн. теперішнього часу, очевидно, пояснюється тим, що це закінчення було й залишається характерною діалектною рисою південно - західних говорів української мови [3:99].

Слід зауважити, що дієслово "бути" у 3 ос. одн. теперішнього часу зустрічається в пам'ятці у традиційній формі *єсть* (с.11, 17 та ін., усього 22 рази) і всього тричі виступає із діалектно твердим [т]: *є́тъ* (с.15, 16, 20). У 3 осн. мн. виступає традиційна форма *сѣ́тъ* (с.14, 17, усього 10 разів).

Звертає на себе увагу те, що у формі 3 осн. мн. деяких дієслів II дієвідміни після губних приголосних основи відсутній епентетичний [лʲ]: *люба́тъ* (с.53, 60), *рѣба́тъ* (с.27). Такі форми без закономірного епентетичного [лʲ] притаманні й тепер наддністрянським говорам [6:68], а в досліджуваній пам'ятці могли бути підтримувані ще й впливом польської мови. Лише в одному випадку засвідчене властиве сучасній українській мові вживання вставного [лʲ] у такій позиції – *рѣблѧ́тсѧ* (с.13).

2. Минулий час

У досліджуваній пам'ятці давні форми аориста, імперфекта та плюсквам-перфекта не засвідчені. У тексті "Книжиці..." минулий час виражається формами колишніх дієприкметників на -лъ, -ла, -ло, що відповідає нормам сучасної української літературної мови, причому у формах дієслів чол. роду спостерігаємо перехід [л]→[у] (графічно -ѣ): *бѣѣ́у* (с.61, 93), *виѣѣ́уиѣ* (с.76) та ін., усього 77 випадків. Лише двічі в пам'ятці зберігається традиційна форма -маѣ́тъ (с. 29, 76).

Цікаво, що у "Війтівських книгах" с. Одрехови XVI-XVII ст. перфектні форми закінчуються ще на [л] (графічно – -л, -лъ) [5:109], хоча починаючи з XIV ст. вже зустрічається на письмі буква *ѣ* у цій позиції [1:131]. У досліджуваній же пам'ятці форми перфекта закінчуються лише на -ѣ(тъ).

Як відомо, минулий час дієслів у більшості південно - західних говорів має залишки перфекта.

Ці форми утворюються зі звичайних для української мови форм дієприкметникового походження і фонетично змінених, стягнених особових форм дієслова "бути" в теперішньому часі, що фактично звелися до закінчень [3:99]. У пам'ятці перфектні форми зустрічаються лише тричі: ...*клино́ѣ*,

котрій вббивсь в середині (с.90); ...помалі, абиь прѣтикає з мѣсца нерѣшивъ (с. 90).

Як бачимо з останнього прикладу, енклітичні форми 2 ос. одн. чол. роду допоміжного дієслова "бути" можуть відокремлюватися від дієприкметникової частини минулого часу і приєднуватися як енклітики до інших членів речення, що є однією з діалектних морфологічних рис подільських говорів [3:100].

3. Майбутній час

На становлення й розвиток майбутнього часу мала значний вплив категорія виду. Простий майбутній час генетично щільно пов'язаний із теперішнім часом.

В основному простий майбутній утворювався від основ теперішнього часу доконаного виду [4:212]. У досліджуваній пам'ятці форми доконаного виду виступають у значенні майбутнього простого: *досагне* (с. 46), *закинешъ* (с. 81), *заклетса* (с. 36), *са найдедѣтъ* (с. 60) та ін.

У складеному майбутньому (з інфінітивом) в українській мові у ролі допоміжного дієслова виступає дієслово "бути". У тексті "Книжиці..." знаходимо достатню кількість прикладів аналітичних форм майбутнього часу, утворених за допомогою дієслова "бути" в особових формах та інфінітива: *тѣмъ лѣкарство давати будешъ* (с. 4); *напередню насъ кѣдѣати буде* (с. 19) та ін., усього 22 приклади.

У досліджуваній пам'ятці знаходимо також один приклад аналітичної форми передмайбутнього часу: *познати тѣмъ хоробѣ, же под насѣкою буде наросла на концѣ остра косточка нѣби...* (с. 23).

У сучасній українській літературній мові ця форма майбутнього часу не живається, але в південно – західних говорах відома й тепер [4:216].

Як зазначає Ф.Т. Жилко, "ці форми, крім південно – західних говорів, поширені в західнополіських північних говорах" [3:100], отже, такі форми майбутнього часу є досить звичними на тій території, звідки походить досліджувана пам'ятка. Форми майбутнього часу, утворені за допомогою дієслова "иму" й поширені в сучасній українській літературній мові, досліджуваною пам'яткою не засвідчені.

УМОВНИЙ СПОСІБ

У досліджуваній пам'ятці форми умовного способу засвідчені в досить обмеженій кількості, але всі вони повністю відповідають нормам сучасної української мови. У цих формах колишній аорист дієслова *бъти* перетворився на частку "би" (графічно *бъ*, *би*, *бѣ*): *если би вѣтъ... кѣдѣавъ* (с.58, 59); *добрѣ бѣ бѣло коневѣ хоромѣ давати* (с.17); *а мѣли бѣ пострѣтити...* (с.27).

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ

Досліджувана пам'ятка засвідчує велику кількість форм наказового способу дієслів 2-ї особи однини. Це зумовлене самим призначенням пам'ятки, оскільки вона являє собою збірник порад і рецептів. Усі засвідчені форми не виявляють жодних відхилень від сучасної норми: *веди ємъ вѣдѣ*

зимнѣю (с.16); *пѣсти емѣ кровь...* (с.16); *давай коневѣ тѣю водѣ пити...* (с.13) та ін., усього 250 прикладів.

Зустрічаються й аналітичні форми наказового способу, утворені з часткою *нехай* (як у сучасній українській мові) та *нехѣ*, напр.: *переклѣи пѣццѣдѣмѣ*, *нехѣи з неѣ кровь спечетѣ* (с.16 та ін., усього 11 разів); *... а стѣпѣвши, нехѣи робити по тѣмѣ* (с.16 та ін., усього 4 рази).

Як зауважують автори підручника "Історична граматики української мови", такі описові форми в давньоукраїнських пам'ятках фіксуються починаючи з XIV ст. [3:219].

Решта форм наказового способу (1,2 і 3 ос. мн.) пам'яткою не засвідчена.

Серед інших особливостей можна відзначити таку характерну для південно-західних говорів української мови рису, як відсутність аглютинації частки [с'а] при зворотних дієсловах, яка може бути або в постпозиції, або й у препозиції [3:101].

У досліджуваній пам'ятці частка [с'а] (графічно - *са*) в основному засвідчена у препозиції: *цюса конѣ сплечивѣ* (с.20), *аж са мило розбѣститѣ* (с. 22), *дошки са робѣть* (с. 55) та ін., усього 29 прикладів, які вказують на подільську діалектну базу мови "Книжиці...".

Прикладів аглютинації частки [с'а] з попереднім дієсловом (як у літературній мові), пам'ятка засвідчує значно менше: *продаетса* (с. 26), *прѣиметса* (с. 91), *обѣтаетса* (с.46) та ін., усього 15 прикладів.

На основі проведеного дослідження можна зробити загальний висновок, що дієслівна система почаївського стародруку "Книжиця для господарства" в основному відповідає нормам сучасної української мови і сучасних південно-західних говорів, а саме:

1. Наявністю у 2^а ос. одн. дієслів теп. і прост. майб. часу закінчення -п: *говориши* (с. 73), *знайдѣши* (с. 70); наявністю в 3^а ос. одн. і мн. дієслів теп. і прост. майб. часу депалаталізованого [т], властивого подільським говорам: *встаѣтъ* (с. 10), *вийдѣтъ* (с. 60).

2. Система минулих часів практично не виявляє відхилень від норм сучасної української мови. З діалектних особливостей помічені випадки вживання деформованих перфектних форм, які й тепер зберігаються в південно - західних говорах, зокрема в подільському: *въбивѣсь* (с. 90), *абишь нерѣшишь* (с. 90).

3. Майбутній час у пам'ятці виражається формами теп. часу дієслів док. виду (простий майбутній): *досѣгне* (с. 46), *са найдѣтъ* (с. 60), а також поширені аналітичні форми майбутнього часу недок. виду з допоміжним дієсловом "бути": *рости бѣдѣтъ* (с.91), *давати бѣдѣшь* (с. 41).

4. Форми умовного та наказового способу цілком відповідають нормам сучасної української мови: *мавъ би* (с.95), *добрѣ бы бѣло* (с. 27), *вимѣи* (с. 12, 33, 39), *нехѣи спечетѣ* (с. 16) та ін.

5. Досить велика кількість прикладів засвідчує відсутність аглютинації частки [с'а] при зворотних дієсловах, що є характерною діалектною рисою для більшості південно - західних говорів сучасної української мови: *са робѣть* (с.55), *са добре знѣтитѣ* (с. 45).

Отже, розглянутий мовний матеріал, представлений у "Книжичі для господарства", свідчить про те, що наприкінці XVIII ст. морфологічна система української мови в основному сформувалась і не завідує особливих відхилень від норм сучасної української мови, окрім діалектних особливостей, притаманних і тепер південно – західним говорам, зокрема подільському й південноволинському, з території яких і походить досліджувана пам'ятка.

Література

1. Веневцева Л.В. *Форми дієслів у молдавських грамотах XV ст.* // Вісник Харків. ун-ту. 1965. №7. С. 129–135.
2. Горбач О. *До фотопередруку двох почаївських стародруків // Пам'ятки мови, ч. I: Два почаївські стародруки...* Мюнхен, 1985. С. 33–35.
3. Жилко Д.Т. *Нариси з діалектології української мови.* К., 1955. 315 с.
4. Жовтобрюх М.А. та інші. *Історична граматики української мови.* К., 1980. 319 с.
5. Керницький І.М. *Морфологічні особливості мови "Війтівських книг" XVI–XVII ст. с. Одрехови, колишнього Сяноцького повіту, на Лемківщині // Дослідж. і матеріали з укр. мови.* К., 1962. Т. 5. С. 90–110.
6. Матвійс І.Г. *Українська мова і її говори.* К., 1990. 165 с.
7. *Пам'ятки мови, ч. I: Два почаївські стародруки: "Книжича для господарства" (1788) та "Полїтика свѣцкая" (1770/1790).* Мюнхен, 1985. 171 с.

М.В. Лихинин

Принцип комплементарности этнокультурных моделей мира

в свете идей когнитивной лингвистики

Давая различные определения понятию «картина мира», неизменно подчеркивают, что само это выражение нельзя отнести к строго научным, оно скорее может быть одним из «бесчисленных житейских выражений, отражающих индивидуальное понимание того или иного человека... какого-либо явления природы, обстоятельств, условий, эстетических ценностей и т.д.» [6:20]. «Мир» – «это, во-первых, мир вообще, воспринимаемый как некоторая всеобъемлющая данность, в которую включен человек... и которая объединяет его со всеми другими людьми... С другой стороны, мир... – это некоторая область бытия, отличная от других, сопоставимых с ней областей, ...и воспринимаемая обычно на фоне так или иначе противоположных ему миров. Это может быть, например, ...один социальный мир в противопоставленности другому и т.п. Такие миры – альтернативные» [7:52–53]. А.Вежица, разграничивая «мир вообще» и «альтернативный мир», отождествляет эту оппозицию с существующим в английском языке противопоставлением «the world» – «a world»: «Мир, который не является частью чего-либо» – «Мир, который является частью the world» [7:53].

Картину мира как «мировоззрение, заключающее в себе тип социальной практики», в различных своих проявлениях (религиозно-мифологическая, философская, научная, художественная) [12:9–11]: изучает особая наука, возникающая в рамках когнитивной антропологической лингвистики, – этно-

лингвистика, ориентированная на рассмотрение «взаимосвязи языка, духовной культуры народа, народного менталитета и народного творчества». Категоризация культурных реалий на уровне подсознания сопровождается реакцией отторжения «инородных» символов другой культуры. Интерпретирующая же деятельность осуществляется как последовательность мыслительных (и рефлекслирующих в целом) операций: описания, оценки, истолкования, объяснения.

Унификация субъективных интерпретаций действительности в рамках определенной культуры, как отмечал А.А. Леонтьев, осуществляется на основании системы факторов, обеспечивающих единство организации, функций и способа опосредования познавательных процессов, характерных для данной национально-культурной общности. Эти факторы взаимосвязаны прежде всего «с факторами языковыми, психолингвистическими и общепсихологическими» [8:8–9]. Так, например, языковая картина мира осуществляет номинацию таких реалий, о которых носители другой картины мира могут не иметь представления из-за «непересекающихся» пространств социально-культурной деятельности. При этом фактором, определяющим «субординативно-иерархические, т.е. идеологические, отношения основных понятий в картине мира», выступают «ценностно-установочные критерии» [5:42].

В языке закрепляются именно те образные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами и т.п. [13:233]. Стереотипы, или эталоны представляют собой «своего рода константы языковой картины мира», т.к. через эти имена в концептуальную картину вливается то обиходно-бытовое представление о мире, которое зафиксировано данным языком [12:46]. Будучи связанной с языком как способом закрепления всей отражательной деятельности мышления, языковая картина мира выполняет функции означивания основных элементов концептуальной картины мира и экспликации ее средствами языка. Концептуальная же картина мира богаче языковой, т.к. в ее создании участвуют разные типы мышления, в том числе и невербализированное. О правомерности данного утверждения свидетельствует множество современных лингвистических теорий, связанных с гносеологическими аспектами взаимоотношения языка и мышления, например, принцип лингвистической дополнителности, выдвинутый Г.А. Брутяном в противовес теории лингвистической относительности Сепира-Уорфа: «...сохраняются периферийные участки..., которые остаются за пределами логического отражения, и в качестве словесных образов вещей и лингвистических моделей отношения между ними варьируются от языка к языку в зависимости от специфических особенностей последних. Через вербализированные образы и языковые модели происходит дополнительное видение мира; эти модели... дополняют нашу общую картину знания, корректируют ее...» [2:57].

Тезис о комплементарности различных лингвистических моделирований мира кажется нам вполне обоснованным, тем более что различие в каждой культуре общих и локальных компонентов легло в основу теории лакун, по-

звolyающей выявить различия и совпадения вербального и невербального опыта тех или иных лингвокультурных общностей. Именно при сравнении одного языка с другим обнаруживаются лакуны, отчасти связанные с культурно-историческим и этнографическим своеобразием, отчасти объясняемые языковой спецификой внутренних форм. Однако «лингвоспецифичные» явления не всегда легко отграничить от явлений «этноспецифичных» и «культуроспецифичных». Так, например, «русский ответ *Ничего* на вопрос *Как дела?* культурно обусловлен в том смысле, что выбирается «скромный» вариант ответа, и лингвистически обусловлен в том смысле, что для передачи соответствующего содержания используется отрицательное местоимение» [3:9].

Другой теорией, утверждающей дискретный характер языкового представления мира, не тождественного понятийному, является предлагаемый О.Г. Почепцовым «*принцип пиков*», согласно которому «отражению подвергается не мир в целом, а лишь его пики, т.е. те его составляющие, которые представляются говорящему наиболее релевантными, наиболее полно характеризующими мир» [11:110–111]. Сознательный отбор «*пиков*», подлежащих отражению, задает тип соотношения между миром и его языковым представлением: «деление мира с помощью языка... осуществляется путем наложения на мир концептуальной сетки», что заключается в отборе частей мира, подлежащих концептуализации, и в установлении того, «как данные концепты «покрывают» мир» [11:111–113].

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев приходят к выводу, что любые исследования репрезентации в языке ментальных и/или чувственных представлений субъекта (или некоторого сообщества) о мире связаны «с вопросом от соотношении и взаимодействии «объективного» и «субъективного», «когнитивного» и «коммуникативного», «логического» и «прагматического» в языковой картине мира». Причем в решении этой проблемы искусственными будут любые попытки разграничить, дифференцировать ее семантические и прагматические аспекты, т.к. «в естественном языке экстралингвистическая реальность представляет собою мир, взятый в интерпретации его людьми, вместе с их отношениями друг к другу, и в этом смысле «онтология» явлений, как она представлена естественным языком, определяется тем, как люди, использующие язык, концептуализируют внеязыковую действительность; с другой стороны, любые речевые хитросплетения возможны лишь на фоне некоторого заданного способа языковой концептуализации мира» [3:7]. При этом в каждой картине мира представлен, в основном, одинаковый набор мировоззренческих концептов, представляющих собой семантические варианты стабильного, неизменного инварианта, т.к. «мировоззренческие понятия [культурные концепты – *М.П.*] личностны и социальны, национально специфичны и общечеловечны» [4:3].

По мнению Р.И. Павлениса, «построение концептуальной системы есть... вместе с тем и построение концепта-функции, воплощающей выбор, предпочтение, отдаваемые в данной системе определенному концепту или определенной концептуальной структуре в качестве **мнения** носителя языка...» [10:239–

240]. Поэтому Ю. Д. Апресян считает, что наиболее актуальным в современной этнолингвистике является переход «от индивидуального субъектного к интересубъектному, и, в этом смысле, объективному (т.е. к интересубъектно проводимым различиям, артикуляциям мира посредством общего кода)» [1:386]. Основное положение этого подхода формулируется следующим образом: «Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некоторую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [1:350].

О. Г. Почепцов, пытаясь представить в обобщенном виде типологию различий существующих картин мира, обусловленных всей совокупностью социокультурных и языковых факторов, формирующих эти картины мира, называет в качестве основных следующие различия: в объеме фрагментов мира, подлежащих концептуализации; в концептуальном наборе; в значении концептуальных переменных; в степени конкретности их значения [11:121]. Уместно будет упомянуть в этой связи, что сенсорно-перцептивную основу отражения мира человеком составляют в первую очередь его природные особенности и индивидуальный мир, а потом уже мир социальный, организующий «системы семантик, которые детерминируют избирательность, гибкость и многообразие способов отражения» [11:122]. Отмечается также множественность последних, что обусловлено имеющимися у человека системами семантик (т.е. представлений о действительности, концептов): каждая из них детерминирует «избирательный характер отражения мира, т.е. анализ его в определенных алфавитах»: первая система семантик – *ситуативная*, поскольку она «обусловлена требованиями деятельности, разворачивающейся в определенной ситуации»; вторая – *общечеловеческая (общепринятые нормы)* – «это нормы общественного поведения, требования различных видов профессиональной деятельности и т.д.», третья – *индивидуальные семантики («личностный смысл»)* [11:122].

Однако причина культурно-исторической спецификации человеческой деятельности, неидентичности «членения» действительности в разных языках кроется не только в своеобразии реальной действительности, в которой живет конкретный народ: «она в значительной степени определяется операциями – способами осуществления действий, в форме которых реально протекает любая деятельность... выбор... альтернативных вариантов не происходит только лишь на основе рациональных критериев. Степень рациональности выбора операции зависит от способов трансляции общественно-исторического опыта в той или иной области деятельности» [8:73]. А поскольку социальный опыт определяет познавательную деятельность не только «в вербальной форме посредством языковых значений», но также «в невербальной форме в виде социально одобренных операций (эталонов восприятия)» [8:22], то проблема нетождественности вербальной категоризации реальной действительности в разных языках может быть понята «как проблема нетождественности образцов социально значимых действительностей», в рамках которых ре-

альная действительность получает различное членение, демонстрирующее «избыточность или недостаточность опыта одной лингвокультурной общности относительно другой» [8:73]. Итак, хотя во многих случаях определенный набор социокультурных признаков коррелирует с определенным языком, тем не менее «типы языковых ментальностей следует выделять именно по социокультурному признаку», и поэтому, говоря о ментальностях, следует соотносить их «с соответствующими социокультурными общностями, а не с языками» [11:119].

Литература

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
2. Брутян Г.А. Гипотеза Сепира Уорфа. Ереван, 1968.
3. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
6. Колишанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990.
7. Лебедева Л.Б. Высказывания о мире: содержательные и формальные особенности // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
8. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
9. Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. М., 1982.
10. Павленис Р.И. Проблема смысла. М., 1983.
11. Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. 1990. № 6.
12. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М., 1988.
13. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.

О.Є. Любичка

До проблеми вивчення табу та евфемії

Табу (tabu) – слово полінезійського походження, що увійшло в європейські мови наприкінці XVIII століття і первинно означало “віддалений”, “відокремлений”. Як справедливо відзначають дослідники, “для первісної людини табу – це все, що містить у собі небезпеку, пов’язане із заборобою” [9:10].

Дослідники запропонували кілька концепцій пояснення генези, змісту і функціонування табу: 1) магічну (розглядає заборони як негативну форму практичної магії (Д.Фрезер)); 2) релігійну (пояснює табу як “священні закони” та заборони, пов’язані з віруваннями в надприродні істоти (Е.Тейлор)); 3) психологічну (тракує табу в психоаналітичному плані як вираження амбівалентного стану та відношень; досліджує табу як форму первісної моралі та один із “пускових механізмів цивілізації” (З.Фрейд)); 4) антропологічну (пояснює табу як форму соціального контролю (Б. Малиновський)) та ін. [17:471–472].

Для дослідження табу у мовознавчому плані важливе значення має магічна концепція пояснення табу. Звичайно, “не всяке табу може мати магічний характер. Поняття табу більш широке, ніж поняття магія: воно майже таке ж

широке, як поняття релігія в цілому. Адже немає і не було жодного явища з галузі релігії, яке тією чи іншою мірою не було б табуйованим” [19:433]. Відомо, що табу - “не специфічно мовне явище (існують табу на ті чи інші акти поведінки, контакти з певними людьми, вживання їжі, використання деяких речей і матеріалів)” [12:501]. Серед найрізноманітніших табу, пов’язаних із магічною функцією мови, значне місце займають словесні табу. Останні розглядаються як “слова, вживання яких заборонене або обмежене під впливом екстралінгвістичних чинників” [18:479].

Названі вище положення стосуються передусім вивчення табу в діакронічному плані. Розглядаючи проблему табу в синхронічному аспекті, дослідники з-поміж причин, що викликають появу евфемістичних назв, називають прагнення не говорити прямо про смерть, тяжку хворобу, уникати називати “непристойні” речі тощо. “Табу диктує настигну потребу в творенні нових, прийнятних для зміни слів: нових власних імен замість заборонених старих, нових назв тварин, рослин, явищ природи тощо” [9:16].

Поняття табу тісно пов’язане з терміном “евфемізм”. А. Кацев під евфемізмами розуміє “емоційно нейтральні слова або вирази, що використовуються замість синонімічних їм слів чи виразів, які є непристойними, згубними або нетактовними. Під евфемізмами також розуміють індивідуально-контекстні заміни одних слів іншими для перекручування або маскуванню сутності позначеного” [9:18]. Н. Мечковська визначає евфемізми як “заміну табуйованого слова загальноприйнятим” [14:63]. В УРЕ евфемізми тлумачаться як “слова і вирази, що замінюють у мові грубі, непристойні вислови” [21:391].

Відношення між табу та евфемізмом характеризуються, як правило, симетричністю; лише інколи вони асиметричні: евфемія неможлива без табу, хоча табу може існувати без евфемії [див.: 9:14].

Евфемізми стали об’єктом лінгвістичних досліджень у ХІХ столітті. Одним із перших звернув увагу на евфемізми, породжені дією табу, німецький мовознавець Г. Пауль. Науковець розглядає евфемізми як структурний елемент семантичного розвитку лексики і називає кілька причин появи евфемізмів, зокрема почуття сорому, релігійний та забобонний страх [15:123].

Праці А. Мейє, присвячені даній проблемі, стали науковим орієнтиром для багатьох мовознавців ХХ століття.

Д. Фрезер, видатний дослідник історії культури та світових міфологій, на широкому фактичному матеріалі детально дослідив “виключний вплив, який мала давня система заборон забобонного характеру на людський розум у всі часи і в усіх країнах” [22:17].

Із східнослов’янських дослідників чи не найбільший внесок у вивчення проблеми табу зробив видатний етнограф і фольклорист Д. Зеленін [див.: 4; 5; 6; 7; 8]. Указавши на різне походження слів-табу, науковець наголосив на тому, що найдавніші з них виникли внаслідок прагнення давніх мисливців уберегтися від небезпеки. Первісні люди вважали, що тварини розуміють мову людини і можуть її підслухати. З давніми уявленнями про те, що

звірі розуміють мову людини, Д. Зеленін пов'язував також спілкування з тваринами у побуті, яке потім переходить у заклинання. Джерелом табу, на думку дослідника, могло бути і безумовне трактування знаку: первісна людина ставилася до слова не як до зовнішньої речі, а як до її невід'ємної частини. "Слово чи ім'я передусім викликає, "накликає" істоту або явище, що називається, запрошує його з'явитися до мовця. Слово чи ім'я є тим шляхом, по якому дуже легко переходить на людину різний пристрій, уроки, злий дух чи хвороба. Нарешті, слово, особливо власне ім'я, може впливати на зміни в природі, на долю істоти, яку називає..." [7:2].

Серед лексико-семантичних розрядів словесних табу, виділених Д. Зеленим, вихідним за архаїчністю і кількістю є розряд на позначення *тварин*. Так, наприклад, у різних народів існує уявлення про демонічний характер вовка, про його тісний зв'язок з нечистою силою. Звідси – евфемістичні назви типу укр.: кузка, сірий, сірман, сіроманець, дядько, поганець, той малий; *галицьке*: нехар; *гуцульське*: малтэй, гайда, флов; *карпатське*: флиган.

Значна кількість слів-табу існує на позначення *назв духів, божеств, чаклунів*, від яких залежали життя та долі людей, а також *назв рослин, мінералів, явищ природи*. Особливу увагу Д. Зеленін приділив *назвам чорта та домовика*. За нашими підрахунками, науковець наводить понад 300 підставних назв на їх позначення.

Надзвичайно поширені й словесні табу, пов'язані з вогнем та водою. Д. Зеленін звертав увагу на те, що, скажімо, українці забороняли говорити про вогонь, пояснюючи це тим, що дух-господар вогню (сам вогонь) є живою істотою, і будити його не слід, бо буде пожежа або вогонь нашле на людину хворобу, яку в народі називають вогняницею або вогником. Тому на позначення вогню у слов'ян існує цілий ряд підставних слів: теплина, багаття, світло, сопот [7:60].

Перспективною для наукових досліджень евфемістичних назв виявилась запропонована Д. Зеленим класифікація назв хвороб: 1) *шанувальні, ласкаві назви*: сестриця, матушка, гостя, пані; 2) *назви-натяки*: вона; не тобі сказано; 3) *улайливі назви*: поганка, чорт, лихой, ворогуша; 4) *назви, запозичені з інших мов*; 5) *назви побутового характеру*: знобуха, гнетучка, кашлюнья.

За міфологічними уявленнями власне ім'я людини є її суттєвим складником. Разом з ім'ям передаються загальні риси характеру та доля людини. Віра в магічну силу слова привела до того, що начебто за допомогою імені можна наділити людину якостями, які відображаються у власній назві. "Якщо власне ім'я є складовою частиною людини, то за законами симпатичної магії, впливаючи на нього, людині можна легко зашкодити" [7:58]. Звідси – дуже поширений звичай змінювати ім'я людини під час її хвороби.

Ураховуючи специфіку функціональної спеціалізації назв-табу, дослідник виділяє такі їх різновиди:

І. *Слова-натяки*. Це підставні слова, що так чи інакше натякають на заборону взагалі або на певне заборонене ім'я. До натяків науковець відносить описові вирази, які в свою чергу теж поділяються на 3 групи: 1) *натяка-*

ють на будь-яку із зовнішніх ознак істоти або предмета, що заборонені: довга (змія); тонконога (вівця); рогатий (олень); 2) указують на функціональну ознаку: той, що вие; той, що ріже; 3) порівнюють різні явища.

II. *Підставні назви + оберег-заклинання*: 1) субституційовані назви: проклятик, окаянный (чорт). Це не просто лайливі назви, а обереги, заклинання від нечистої сили; 2) власні імена, яким приписується властивість впливати на природу і долю носія даного імені (характер, смерть, щастя); 3) слова-назви для тварин і хвороб: сліпці-горобці.

III. *Назви, що характеризують щось протилежне (антитеза)*. Ці номінації розраховані на обдурювання духів: щось мокне (про пожежу); здорова дитина (про хвору): 1) запозичені назви: бирюк (вовк); 2) ласкаво-шанувальні назви: тітка (лихоманка), дід (вовк); 3) "погані" імена, які дають хворим людям або немовлятам, якщо в їх сім'ї часто вмирають діти.

Таким чином, Д. Зеленін намітив основні аспекти дослідження проблеми табу не тільки в етнографічному, але й у лінгвістичному плані.

Побіжно проблеми табу торкнувся й академік Л. Булаховський, який указав на існування кількох різновидів словесних табуїстичних назв і виділив словесні табу "починаючи від фактів, що спостерігаються, наприклад, у дуже забобонних полінезійців, і закінчуючи тими явищами словесних заборон, що існують у наших сучасників..." [2:50].

Проблему походження евфемістичних назв розглядає О. Трубачов у статті "Из истории табуированных названий" [20:120–127]. Дослідник зосереджується на аналізові двох слів – *росомаха* та терміна *болець*. На думку автора, слов. **bolěti* має споконвічне значення – "сильний", "сила", "бути сильним". Науковець припускає, що давні слов'яни, унікаючи старого терміна *болець*, використовували евфемізм із первинним значенням "бути сильним", і пояснює природу цього на прикладах назв хвороб із "гарними" назвами.

Дослідженню проблеми табу та евфемії присвячена робота Б. Ларіна "Об эвфемизмах" [11:110–125], в якій автор у синхронічному та діакронічному планах аналізує кілька евфемізмів, уживаних в російській мові: *пиш*, *пишок*, *пишига*, *пишимора* та ін.

С. Відлак у статті "Проблемы эвфемизма на фоне теории языкового поля" [3:267–283] розглядає питання, пов'язані з проблемою табу і визначає лексико-семантичні та функціональні властивості евфемізму. Особливу увагу науковець приділяє проблемі мовного поля. Спираючись на численні роботи зарубіжних науковців, автор приходить до висновку, що існують три аспекти аналізу мовної заборони і відповідно до них – дослідження евфемізмів: сфера, функціонування та результати. Аналізуючи сфери дії мовного табу та евфемізму, С. Відлак як важливі називає формальний і змістовий аспекти організації слова.

Особливим виявом дії евфемістичної тенденції дослідник вважає контамінацію, що існує у різних виявах: 1) формальному або зовнішньому (слово-табу замінюється іншим словом або виразом, що нагадує його (іноді тільки складом) винятково тільки формою); 2) семантичному (збереження слова-

табу + частина іншого слова, що нерідко визначає семантичний зміст нового виразу); 3) нове підставне слово замість табуїстичного, що не має з ним ні формальних, ні семантичних зв'язків.

Лексико-семантичні та функціональні властивості мовних табу у фольклорних текстах досліджує У. Конкка [10:170–178].

Різні аспекти проблеми евфемістичних номінацій розглядає М. Баскаков у статті “Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая” [1:3–7]. На думку дослідника, сучасна табуїстична лексика алтайців представлена промисловим мисливським і жіночим лексиконами. Так, наприклад, характерними напрямками виникнення евфемізмів на позначення тварин є:

1) уживання замість назви тварини спорідненого імені чоловіка (для назви ведмеда – шанувальне), наприклад, ајуш “ведмідь” > таадақ “дідусь по матері”;

2) заміна табуїстичного слова назвою, що характеризує позитивні якості тварини: ајуш “ведмідь” > кежер “могутній богатир великого росту”;

3) заміна назви іншою, що фіксує нейтральну ознаку тварини: ајуш “ведмідь” > маджалаң “той, що ковчильє”;

4) заміна імені на назву з негативною ознакою: кежер мaldын dialmazын uuzapsaltыр > “могутній, великий богатир пом’яв ноги худоби”;

5) називання табуїстичної істоти назвою, що служить для позначення іншої тварини (за подібністю): ајуш “ведмідь” > джек аң “хижий звір”. У цілому табуїстичні назви народів Алтаю охоплюють різні шари лексики. Крім описових назв тварин, птахів, риб, комах, а також назв рослин, існують евфемізми на позначення частин тіла, предметів побуту, назв професій тощо.

Однією із спеціальних робіт, присвячених дослідженню мовних табу та евфемії, є праця А. Кацева “Языковое табу и эвфемия” [9]. Дослідник виділяє причини та ознаки табу (специфіка денотату, характер заборони), різновиди табу (замовчування, паравфемію, евфемію у власному розумінні), класифікує евфемістичні назви у понятійному і структурно-семантичному аспектах. А. Кацев доходить до висновку, що евфемія є мовною універсалією.

Особливу увагу у роботі науковця відведено проблемі семантичної динаміки евфемістичних назв. Ураховуючи співвідношення між прямою назвою та її замінником, а також реальні процеси переходу евфемістичних назв до складу прямих номінацій, дослідник виділяє: 1) *стерті евфемізми*, які виникають внаслідок функціонально-прагматичної модифікації слова; 2) *істинні евфемізми*, до яких автор відносить загальнозживані евфемізми без особливої образності та виразності, слова типу “нездоровий” в значенні “покійник”.

Таким чином, А. Кацев систематизує і значною мірою поглиблює аспекти розгляду проблеми, означені ще в XIX столітті.

Міфологічні та діакронічні аспекти проблеми табу розглядає на широкому фактичному матеріалі індоевропейських мов М. Маковський у статті “Метаморфозы слова. (Табуирующие маркеры в индоевропейских языках)” [13:151–179]. Концептуальні положення щодо сутності табу дослідник формулює так: “Обов’язковим складником слова є табуйовані елементи. Вони

можуть накладати заборону на ту чи іншу будову слова як в якісному, так і в кількісному відношенні. Оскільки табу перехрепщується з тотемізмом, то в якості елементів табу можуть виступати і різні акронімічні та акросилабічні елементи слів-тотемів, що означають різних тварин, явища природи, вогонь, воду, гори, небо тощо. Тотемічний показник є водночас і табуйованим, оскільки він накладає обмеження як на кількість та якість букв у слові, так і на їх позицію у слові. Тотемічне обмеження може бути двох видів:

1) збереження попереднього стану (форми та значення): в цьому випадку спостерігається додавання табуйованих експонентів, які не змінюють значення слова;

2) зміна формального і семантичного статусу слова. Вхід слова до мови, як і вихід, – це теж прояв дії табу (заміна того, що табуйовано). Елемент табу – це елемент-блокатор (оберег). Саме елементи табу відповідальні за те, яка частина “божественної сутності” може (або повинна) проявлятися або не проявлятися в слові” [13:157].

На жаль, цінність загальнотеоретичних міркувань автора дещо зменшується, головним чином внаслідок апріорного підходу до мовних явищ.

Проблема табу та евфемії знайшла своє висвітлення і в підручнику Н. Мечковської “Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов” [14]. Автор послідовно викладає головні положення, що стосуються різних аспектів даної проблеми: співвідношення табу і евфемізмів, визначення міфологічних витоків словесних табу, значення табу для розвитку лексичного складу мови.

На перший погляд, увесь проаналізований матеріал дозволяє зробити висновок про те, що проблема табу та евфемії розгорнута всебічно і повно. Ця теза головним чином характеризує окремі аспекти проблеми, передусім ті, що стосуються виділення тематичних груп евфемістичних назв, визначення місця і ролі табу в житті первісних людей. Поза увагою дослідників залишилися такі важливі аспекти цієї проблеми, як вивчення власне лінгвістичних механізмів виникнення евфемістичних назв, розпізнавання евфемізмів, що мають (або мали) оберегове значення, дослідження структурної та семантичної динаміки евфемістичних назв.

Для всебічного повного і коректного аналізу фактичного матеріалу принципове значення має кілька моментів:

1. Дослідники справедливо вказують, що у міфологічній свідомості слово відображало сутність предмета, однак при цьому не завжди брали до уваги структурно-семантичну неоднорідність слова. На думку О. Потєбні, слово складається “з трьох елементів: єдності членоподільних звуків, тобто зовнішнього знаку значення; показування, тобто внутрішнього знаку значення і самого значення. Іншими словами, в цей час у подвійному відношенні маємо знак значення: як звук і як показування” [16:133]. Безперечно, згідно з універсальними міфологічної свідомості, сутність предмета маніфестується не всім значенням слова, а лише його внутрішньою формою. Змінити внутрішню форму слова – значить приховати семіологічне значення явища дійсності.

Сама можливість появи назв табу виникає внаслідок того, що змінюється внутрішня форма слова. Не випадково дуже часто евфемістичними назвами є слова із так званою стертою внутрішньою формою. Це передусім займенники, які відзначаються найменшим ступенем мовної референтної конкретності.

2. При відборі фактичного матеріалу часто виникає проблема статусу номінації, визначення її евфемістичного чи не евфемістичного характеру. Особливо гостро це питання постає при аналізові архаїчної лексики, що здебільшого має затемнену внутрішню форму і/або стерту евфемістичність. Очевидно, для коректного вирішення статусу аналізованих лексем, принципове значення має реконструкція внутрішньої форми слова і етнолінгвістичних контекстів, в яких воно функціонує. Крім того, при визначенні характеру мовної номінації слід враховувати наявність у структурі номінації лексичних компонентів, що мають оберегове значення; специфіку метафоричної номінації предмета, його віднесення до певних експресивно маркованих груп слів.

Звичайно, знання вихідних теоретичних положень не означає механічного вирішення всіх проблем. Так надзвичайно важливим і складним завданням є характеристика запозиченої лексики, яка в мові-джерелі мала евфемістичне значення. Виважений аналіз таких лексем неможливий без урахування екстралінгвістичних моментів, пов'язаних з історією слова.

Література

1. Баскаков А.Н. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая // Советская тюркология. Баку, 1975. № 2. С. 3-7.
2. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. М., 1990.
3. Видлак С. Проблемы эвфемизма на фоне теории языкового поля // Этимология. 1965. М., 1967. С. 267-283.
4. Зеленин Д.К. Магические функции примитивных орудий // Изв. АН СССР, Отд. общ. наук, 1931. № 6.
5. Зеленин Д.К. Магическая функция слов и словесных произведений // Академия наук СССР - академик Марру. XIV. М.-Л., 1935.
6. Зеленин Д.К. Развитие представлений о злых духах в примитивном обществе // Антирелигиозник, 1933. № 4.
7. Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сб. МАЭ. Т.8-9. Л., 1929-1930.
8. Зеленин Д.К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.-Л., 1937.
9. Кацев А.М. Языковое табу и эвфемия. Л., 1988.
10. Конка У. Табу слов и закон иноказания в карельских плачах // Проблемы фольклора. М., 1975. С. 170-178.
11. Ларин Б. А. Об эвфемизмах // Проблемы языкознания. Л., 1961. С. 110-125.
12. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
13. Маковский М. Метаморфозы слова. (Табуирующие маркеры в индоевропейских языках) // Вопросы языкознания, 1998. № 4. С. 151-179.
14. Мечковская Н. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1998.
15. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
16. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990.
17. Психологический словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976.
18. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.
19. Трубачев А. Из истории табуирующих названий // Вопросы языкознания. М., 1958. №3. С. 120-127.
20. Украинська радянська енциклопедія: В 12 т. К., 1978-1985. Т.4.
21. Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1980.

Проблема формирования отчетливого представления о том, что такое ценностное отношение и каким оно должно быть, возникает перед поэтом после того, как им в 1828 году были написаны, может быть, самые напряженные произведения – «Воспоминание» и «Дар напрасный, дар случайный». Тексты эти свидетельствуют о глубоком духовном кризисе. Отсылаю читателей к блестящему анализу второго стихотворения как «Анти-Пророка» в статье В. Непомнящего «Дар». Подчеркну пока лишь мотив ценностной опустошенности в строках *«Цели нет передо мною, Сердце пусто, празден ум»*. В опубликованной Пушкиным части «Воспоминания» нужно выделить мотивы укоров совести (*«Змеи сердечной угрызенья»*) и негативной оценки пройденного пути (*«И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклиная»*). В неопубликованном фрагменте особо значим мотив своеволия (*«В безумстве гибельной свободы»*).

Эти тексты свидетельствуют: под прошедшим Пушкин подводит черту, предшествующее духовное состояние им оценивается крайне негативно, экзистенциальное состояние его теперь таково: ценности утрачены, ценностные отношения тоже, жизнь, лишенная ценностного содержания, напрасна, случайна, осуждена на казнь, высшие силы враждебны, доминируют сомнения, тоска, опустошенность ума и сердца. В духовном и нравственном плане личность – на краю гибели.

В подобном состоянии ищут либо смерти, либо духовных сил для преодоления кризиса. Пушкин пошел по второму пути. Напряженность внутренней работы при этом достигает крайней интенсивности. Пушкин ищет такие ценности, которые могут вернуть ему переживаемое ценностное отношение, положительные ценностные эмоции, интенциональность, направленную на ценности. Он как бы задается вопросом, что есть такое интенциональное, эмоционально окрашенное, позитивное отношение к ценности.

Ответ был найден в течение достаточно короткого времени. Уже в 1829 г. Пушкин пишет перевод «Гимна к пенатам», в 1830 г. появляется ключевой для понимания духовного развития Пушкина в ту пору текст «Два чувства дивно близки нам». Оба текста остаются незавершенными, но в них – и наряду с ними в некоторых других текстах того же времени поэт открывает для себя представление о ценностных отношениях, которое в силу присущих ему свойств дает возможность самому Пушкину и каждому, кто приобщается к его духовному опыту, одолевая кризис, возвращая себе ценностно значимую интенциональность. Наиболее отчетливо способ выхода из кризиса явлен в стихотворении «Два чувства дивно близки нам». С первых слов ясно: для Пушкина ценностное отношение есть переживание, чувство, направленное на некий предмет, это эмоциональное отношение, существенно значимое для личности, дивно близкое ей.

Уже эта дивная близость заслуживает особого внимания. Ведь вообще всякое чувство охватывает человека и в то же время пребывает в глубине его сердца. Куда уж ближе. Дивная, т.е. крайняя, исключительная, а потому удивительная и, может быть, даже чудесная близость, очевидно, не в этом. Чтобы понять смысл пушкинского утверждения, нужно учесть, что обычные эмоциональные состояния и отношения — преходящи, временны, т.е. отчуждаемы от личности. Они-то охватывают душу, но и проходят. Предельно, уникально близким может быть в таком случае признано чувство непреходящее, неотчуждаемое.

По-видимому, для Пушкина дивная близость связана с тем, что человеческое сердце как бы срастается полностью с этим чувством, само чувство становится неотрывным от сокровенной сущности личности, становится константой ее внутреннего мира.

Такова первая посылка Пушкина, первый ответ на вызов кризиса: чтобы преодолеть духовную опустошенность, необходимо найти в своем сердце, в своем духовном опыте, вернуть себе такие чувства, которые могут быть неотчуждаемыми, которые неотрывны от самой глубокой сердцевины внутреннего мира, нужно добраться до истоков своей душевной жизни, расчитать их и обрести вновь те ценностные отношения, которые являются константами личностного бытия, сопоставимыми по своей непреходящести с религиозными переживаниями и ценностями.

Это возвратное движение аналогично покаянию, при котором личность отрывается от всего темного, грязного, опустошающего ее бытия, чтобы в результате вернуться к своей светлой сущности, к изначально данному ей образу Божию. Первая фаза нравственного усилия — покаяние, связанное с осознанием своих ошибок, падений, несовершенства, вины, греховности, с пробуждением совести, с переживанием отращения к прежнему в себе, к своим поступкам и образу жизни, с самоосуждением и самоотрицанием, — явлена в стихотворении «Воспоминание». В нем и в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный» представлены такое внутреннее опустошение, такая потерянности утратившей себя личности, за которыми должна неизбежно следовать если не духовная гибель, то — жажда катарсиса, т.е. очищения и просветления, т.е. стремление вернуть себе себя, изначально присущее личности и сохраняющееся под всеми наслоениями ценностное переживание, обуславливающее ее самотождественность.

Ожидаемая уже в стихах 1928 г. следующая фаза — возвратное движение души к своим ценностным истокам и является в стихотворении «Два чувства дивно близки нам». Там собственно и идет речь о сокрытых ценностных истоках личностного существования, которые дороги человеку, поскольку они являются основой его личностной самотождественности, которую не может не стремиться вновь обрести тот, кто в отращении читает жизнь свою.

Не случайно Пушкин далее пишет об этих чувствах: «В них обретает сердце тишу». Действительно, те чувства, которые обеспечивают самотождественность личности, которые являются неотрывными от ее сокровенной

глубины, дают возможность жить сердцу, живительны для него, питают его. Если они есть, сердце наполняется тем, что дает ему возможность одолевает все, что встречается на многотрудном пути личности. С другой стороны, к этим дивно близким чувствам сердце раз от разу может возвращаться, все более проникаясь ими, и в итоге созреть, мужать, возрастая духовно, ибо они дают пищу для всего этого.

Таким образом, сказав *«В них обретает сердце пищу»*, Пушкин делает еще один шаг в преодолении кризиса, ибо опустошенности (когда сердце пусто) здесь противостоит его наполненность, но уже не страстями, а ценностью значимыми переживаниями, обреченности осужденной на казнь жизни – живительная сила, позволяющая одолевает трагизм бытия: напитавшееся такими чувствами сердце дает человеку решимость жить, обуславливающая тем самым живое ощущение осмысленности жизни, которая прежде казалась напрасной, случайной, беспечной.

Такими чувствами, возвращающими человека к истокам его душевной жизни, к изначально данному, Пушкин называет любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Родное пепелище – это родной дом. Обычно это дом, где человек родился, где жили его родные, где в их кругу он был окружен добром, заботой, любовью, там переживают первые «впечатления бытия», там человек был защищен, там приобщался к родовой памяти как к источнику ценностных отношений. Родной дом – это место, где человек естественно и непосредственно, через живое восприятие, созерцание и переживание приобщается к ценностям. Родной дом навсегда остается для него неким центром бытия, из которого открывается вся картина мира в целом, а также источником целостного взгляда на мир и соответственно целостности человеческой личности.

Таким образом, Пушкин находит такой предмет эмоционального отношения – Дом, чувства к которому действительно могут быть близкими, т.е. неотчуждаемыми, непреходящими, потому что родной Дом, к которому он хотя бы в воображении возвращается, как блудный сын, не может оставить человека равнодушным, не может не волновать, а значит, даже если сердце опустошено, есть надежда, что при встрече с родным домом разобьется его окамененное нечувствие, вернется любовь, питающая и живящая сердце. Мы вновь сталкиваемся с тем, что путь преодоления кризиса пролегает через истоки ценностных отношения, через возвращение к предметам, которые изначально вызывали эти отношения и переживания.

С другой стороны, здесь обозначен еще один мотив возвращения к родному пепелищу: это необходимо для потерянности личности во враждебном, отчуждающем ее мире, когда ею утрачиваются ориентиры, когда пребывая в *«невале, в бедности, в гонении»* и в суете, слыша то *«друзей предательский привет»*, то *«жужжанье клеветы и шепот зависти»*, испытывая, как *«сердцу наносит хладный свет неотразимые обиды»*, человек жизнь в целом представляет себе беспечной, напрасной, полной случайностей, лишенной смысла. Дом как центр бытия, центр ценностного образа мира нужен чело-

веку, чтобы он мог вернуться к такой цельной картине бытия, у цельности мироотношения и внутреннего мира.

Но вот что характерно: встреча-то в тексте стихотворения происходит с домом, который обратился в пепелище. Дома собственно нет, есть лишь память о нем. Точно так же нет уже в живых и предков – есть отеческие гроба. можно посетить пепелище и могилы предков, но нельзя в действительности вернуться к родным, в родной дом. Реально дом, род, семья уже не могут защитить, уберечь, оградить, обогреть, окружить любовью. Отсюда особый модус ценностного отношения, оно становится сугубо духовным, оно не может быть утилитарным, потребительским, эгоистичным. Что же может быть при этом обретено? То, что неуничтожимо, – духовная субстанция дома и рода. Ушедшие из жизни предки и дом, ставший пепелищем, становятся достоянием вечности. Ценности временные претворяются в вечные. И можно надеяться вернуться к истокам, корням, духовной субстанции дома и рода лишь в духе и истине. Но это и может привести к тому, чтоб ставшее сугубо духовным ценностное отношение приобрело характер абсолютной константы. При этом реализуется потребность личности в ценностях вечных, неуничтожимых, которые не могут изменить человеку. Вот почему Пушкин далее утверждает: «родное пепелище, отеческие гроба есть животворящая святость».

Здесь собственно и дана формула ценностного отношения, здесь самое сильное пушкинское утверждение, отражающее ядро его позитивной позиции по отношению к ценности.

Итак, через предикат осуществляется приписывание соответствующим предметам статуса ценности. При этом автор не просто фиксирует наличие в его поле зрения того, что имеет ценностное содержание само по себе, объективно или для кого-либо, вне его собственного личностного отношения – тогда бы ценность могла рассматриваться как безлично, отчужденно от личности и отношение у ней можно было бы устанавливать, определять, варьировать – от безразличия до благоговения или, наоборот, кощунства. Нет, если в высказывании ценностный смысл приписывается, значит речь идет о том, что автор относится к тому, о чем говорит, как к ценности, тут и возникает личностное ценностное отношение. О смысловом наполнении этого отношения и можно судить, опираясь на слово **святость**. Обычно отношение к святости – это благоговение, почитание, поклонение. соответствующие смыслы для Пушкина являются опорными.

Именно такое отношение – по иному поводу – Пушкин фиксирует в строках: *Но, встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, Благоговей богомально Перед святыней красоты.* Ср. начало другого стихотворения: *Перед гробницею святой Стою с поникшею главой.*

Подобные переживания явлены и в первых строках стихотворения «Воспоминания в Царском селе» 1829 г.: *Воспоминаньями смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой.*

Здесь же можно вспомнить завершающую строку из стихотворения «В часы забав иль праздной скуки»: *Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.*

Но наиболее полно связь отношения к святыне с различными переживаниями, с широким их кругом выражается в тематически близком к рассматриваемому тексту переводе «Гимна к пенатам»: *Но вас любить не остывал я, боги, И в долгие часы пустынной грусти Томительно просилась отдохнуть У вашего святого пепелища Моя душа — ж зане там мир. Так, я любил вас долго! Вас зову В свидетели, с каким святим волненьем Оставил я людское племя, Дабы стеречь ваш огонь уединенный! Часы неизъяснимых наслаждений! Они дают мне знать сердечну глубь! Они меня любить, лелеять учат Не смертные, таинственные чувства! О нет, вовек Не преставая молить благоговейно Вас, божества домашние.*

Итак, по Пушкину, ценностное отношение к святыне связано со смущением, сладкой тоской, поклонением, священным ужасом, любовью, отдохновением души, ее томительным устремлением к отдохновению, к миру, стремлением беречь святыню, святым волнением, погружением в сердечну глубь, неизъяснимыми наслаждениями, не смертными, таинственными чувствами, молитвой, обращением к Божеству, наконец, с благоговением. Доминантой ценностного отношения является любовь — не остывающая, горячая, душевная, отдающая своему предмету всю полноту сердечного чувства, это любовь к родному, что дорого, близко, субъективно важно, к чему обращаются с молитвой, свидетельствующей об устремленности к этой ценности, которая воспринимается, верой принимается как святыня, единение с которой зависит от некой благодати, даруемой тем, кто не оставляет надежды, кто сохраняет волнение, поскольку ценность не дана, ее нужно стяжать, ее легко утратить, не просто обрести, но она ждет тех, кто, сохраняя самоотжестовленность, не остывал любить, грустил, томился, чаял встречи с ней.

Ценностное отношение к святыне для Пушкина, таким образом, есть отношение переживаемое, причем чувства тут весьма многообразны, переживаемое ценностное отношение охватывает всю сферу чувств, все сердце — до предельной сердечной глубины. Характерно, что в Пушкина отсутствуют указания на сознательное, рациональное отношение к святыне. Это можно понять. Если мы говорим: я знаю (полагаю, понимаю, предполагаю), что это святыня, я знаю о такой-то святыне и т.п., то в подобных утверждениях субъект, личность и святыня дистанцированы, отчуждены одно от другого. Говорить так еще не значит принимать святыню целостностью своего личностного существа, иметь переживаемое отношение к ней. Тут перед нами рациональное решение вопроса о том, присущи ли объективно чему-либо признаки святыни. Это установление логического, т.е. вполне формального отношения между предметом и признаком. Заметим, интеллектуальные операции не захватывают всей полноты и целостности внутреннего мира личности.

Таким образом, возврат к ценностному, с пушкинской точки зрения, может произойти, если является результатом не рационального решения, а ин-

туитивного отношения, сопровождаемого непременно многообразными переживаниями, охватывающими всю сферу человеческих чувств, с обязательным присутствием иррационального, сакрального.

Знание и мнение не может быть мотивом ни действий — таких как молитва, поклонение, ни переживаний, в особенности бессмертных, таинственных чувств. В то же время переживаемое, эмоциональное ценностное отношение к святыне важно именно в плане мотивации, оно захватывает в ее полноте и мотивационную сферу личности. Насколько глубоки эти мотивации, можно судить по тому, что святое волнение заставляет оставить людское племя, огонь, опаляющий душу, понуждает ее отвергнуть мрак земных сует, смущение и благоговение заставляют остановиться, прервать профаническое существование и выйти к не смертному, таинственному, к высшему бытию, к вечному.

Обратим внимание: в пушкинской интерпретации отношения к святыне есть момент страдательности, переданный даже в собственно грамматических формах страдательного залога смущенный, душа палима, исполнена тоской. Видно, речь идет о состоянии, которое является неконтролируемым, непроизвольным, ср. строку: *«Вдруг остановишься невольно»*. Т.е. это состояние претерпевается, испытывается, оно овладевает душой, охватывает всего человека, но не является свободно направляемым и сознательно регулируемым.

Этот момент особенно важен для характеристики самой личности с точки зрения ее готовности к такой реакции. Чтобы личность естественно и непроизвольно отдавалась таким переживаниям, в ее внутреннем мире должны доминировать соответствующие ценностные константы, которые уже полностью вошли в состав души и неотрывны от сущности личности. Это подобно нравственным реакциям: чтобы они были непроизвольны, соответствующие моральные ценности должны органично войти в естество личности. Здесь мы с иной стороны вновь подходим к вопросу о неотчуждаемости дивно близких чувств. Здесь вновь утверждается: чтобы вернуть себе переживаемые ценностные отношения, необходимо обратиться к тому, что до самой глубины захватывает мотивационную сферу, что было и может быть неотрывным от твоей внутренней сущности, нужно вернуться к неотчуждаемому. Очевидно, утверждение существования неотчуждаемых ценностных отношений, укорененных во внутреннем мире и обеспечивающих личностную самоидентичность, — это смысловая доминанта пушкинской поэзии.

Переживание ценностного отношения к святыне у Пушкина — это встреча целостной личности и целостности сакрального, встреча, при которой осуществляется единение пребывающей в дольном мире личности с горним и обретение ею во время (или на время) этой встречи полноты бытия. Это обретение личностью подлинной жизни, в ее единстве со святыней, с вечным, с Божеством. Вот почему Пушкин говорит о святыне *животворящая*. Подлинное бытие живо лишь в единении с горним, без чего мир и наше существование в нем мертвеют и опустошаются. Отсюда пушкинские слова: *«Земля была б без них мертва, Как ... пустыня»*).

Это требует от человека особого модуса переживания. Встречаясь со святыней, он должен так переживать свою связь с ней, чтобы освящалось само ценностное отношение, чтобы святым становилось волнение, любовь, молитва. Только в таком случае встреча состоится, и алтарь посетит своим благодатным присутствием божество. Формальные знания о, скажем, ритуальных действиях, формальное их осуществление не приведет к явлению такой встречи. Алтарь лишь место встречи, молитва — ее форма. Но и место, и форма могут быть телом без души. И тогда алтарь — мертв, как место несостоявшейся встречи, по слову Пушкина, — алтарь без божества.

Заметим, что, строго говоря, когда речь идет о собственно религиозном поклонении, алтарь, равно как и другие ценности религиозного отношения, не могут мыслиться пребывающими без божества, без святости и благодати. Но применительно к таким ценностям, как родное пепелище и отеческие гроба, можно смело утверждать: они то и могут быть святыней лишь при наличии соответствующего ценностного отношения. Пушкинское истолкование святыни во многом соотносимо с религиозными представлениями, но безусловно верно оно по отношению к нерелигиозным ценностям.

Соответствующим требуемому модусу переживания встречи со святыней является для Пушкина благоговение. Оно у него связано с молитвенным состоянием (*«благоговя богомольно»*, *«молить благоговейно»*), чем подчеркивается возможность общения со святыней. Целостная личность может войти в общение и в общность с нею. Тут не т места отчужденному отношению. В то же время пушкинские контексты позволяют говорить о живом чувстве или интуитивном ощущении дистанции между высотой и совершенством святыни и неизбежным несовершенством человека. Именно поэтому встреча со святыней приводит его в смущение, приблизиться к ней он может лишь с поникшей главой, в святом волнении. А если вспомнить, что еще недавно ты пребывал среди земных сует, испытал змеи сердечной утравы, с отвращением читая жизнь свою и пр., понятно и появление священного ужаса. Ведь этот ужас, как и страх Божий, можно толковать как чувство, возникающее, когда человек начинает интуитивно сознавать, что сам, по собственной вине, из-за своего безумства, лени и страстей все более удаляется от святыни, от Бога, сам уходит во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Если бы человек, в затмении душевном, обеспамятев, пребывал в полном отчуждении от святыни, то страха, священного ужаса не было бы. Но отчуждения у Пушкина нет, и является ужас, и томится и тоскует душа. Пребывающая в мертвой пустыне, без божества, без вдохновения, она не может не просить позволить приблизиться к святыне, вернуть ей общение и общность с нею, восстановить связь с Божеством. На самом деле для души мир без святыни мертв, алтарь без Божества немыслим, и вот она, смущенная, поникшая, осмеливается молить благоговейно. Таким сложным и драматичным, если не трагическим, предстает пушкинское благоговение перед святыней. Здесь еще раз находит отражение духовная коллизия, претерпеваемая и преодолеваемая поэтом.

Итак, высшие ценности для Пушкина приобретают статус святыни. С его точки зрения именно они являются основанием самостояния человека. Совершенно не случайно при этом говорится: *«На них основано от века По воле Бога самого Самостоянье человека»*. По воле Бога никакие иные ценности, кроме вечных, кроме святынь, не могут быть основанием чего бы то ни было.

Самостоянье человека есть его свободная позиция и свободное поведение, не обусловленное ничем, кроме абсолютных ценностей, кроме переживания общности с ними, кроме святынь. Только такой может быть истинная свобода, потому что если человек ищет иной свободы, то он получит и иную зависимость — от своих инстинктов, безумства, лени и страстей, от условий света, от соблазнов и искушений, внушаемых князем мира сего. О таком и было сказано Пушкиным: *«В безумстве гибельной свободы»*. О такой зависимости освобождает ценностная связь со святыней, поэтому именно она дает высшую свободу человеку и является основой его самостоянья.

Самостоянье обусловлено таким ценностным отношением, поскольку оно направлено на первоосновы бытия, на его центр, откуда разворачивается целостное представление о мире, формируется целостное отношение к нему, а в итоге наступает духовное исцеление личности, восстанавливается ее цельность. Цельной личности присущ цельный ценностно значимый образ мира и образ существования. Ей свойственно интуитивное освоение неких генеральных принципов мироотношения и поведения (с опорой на ценности, на святыни), переживаемое приобщение к определенному модусу существования, образу жизни, способу бытия, усвоение ценностно значимого стиля жизни и поведения. Никакой мелочной регламентации, никаких заданных заранее программ, парадигм и решений. В катастрофически меняющемся мире жесткие мировоззренческие и поведенческие структуры неприменимы. Да и предопределение поведения ими опять-таки стесняло бы свободу. Поэтому самостоянье человека, как и самотождественность личности может основываться лишь на живом, переживаемом отношении к ценности, живой интуиции, проявляющихся в стиле восприятия мира, в стиле экзистенции и поведения. И Пушкин собственно вырабатывал не мировоззренческие модели и поведенческие парадигмы, но основанную на ценностном отношении интуицию бытия, образ жизни, экзистенциальный стиль. В таком случае святыня при переживании ценностного отношения к ней действительно творит живую жизнь, живое свободное мироотношения и поведение. Человек при этом может жить свободно и воспроизводить заданный регламент, постоянно оглядываясь на запреты и предписания. Тогда-то человек и может *«Чтить самого себя»*, ибо обладает самостояньем, творческой свободой, залог его величия в этом.

Наконец, величие человека, очевидно, определяется его способностью противостоять катастрофизму бытия, разрушительному для личности в ее самотождественности, для ее ценностного мира, для ее свободы и творчества. Видимо, именно столкновение с катастрофами, потребность устоять

перед ними и побуждает личность искать непреходящие, неотчуждаемые ценности, обращаться к святыне.

Мы начали с того, что проблема ценностного возникает перед Пушкиным в результате духовного кризиса. Но кризис этот, как становится ясным при прочтении черновика «Воспоминания», вызван именно жизненными катастрофами. Таким образом, духовное самоопределение Пушкина есть ответ не только на вызов духовного кризиса (он произведен), но и на вызов катастрофизма человеческого существования. Истоки духовности Пушкина, его нравственного самоопределения, его ценностных отношения в этих коллизиях.

Духовность Пушкина, его ценностная позиция катастрофичны в том смысле, что возникают в ответ на катастрофизм бытия и предназначены для его одоления в будущем. Но, оказывается, одолевать его может лишь тот, кто имеет такие ценностные отношения, на которых может основываться его свобода, творчество, самостоянье, без чего в изменчивом мире человек обречен на поражение. Для того же, чтобы устоять перед лицом катастрофизма мира, необходимы непреходящие, абсолютные в своей неотчуждаемости ценностные отношения. Когда они есть, есть и самостоянье, есть и величие человека.

М.М. Матлина

Условия и возможности трансформации характеризующих предложений в рамках субъекта высказывания

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы проанализировать условия и возможности транспозиции субъекта предложений характеристики /ХП/ в их понимании Н. Д. Арутюновой (Арутюнова, 1976, 18), выраженного словами, связанными синтаксической словообразовательной связью с центром в антропониме со значением характерологических свойств человека: именование лица — прилагательное — отвлеченное имя этого признака — глагол (*гордец — гордый — гордость — гордиться*).

В качестве базовой принимаем концепцию Г.А. Золотовой о принципиальной двусоставности любого предложения и сформированного на его основе высказывания. (Золотова, 1982, 99).

Под субъектом предложения понимаем синтаксически независимый субстанциональный компонент субъектно-предикатной структуры, обозначающий носителя предикативного признака.

Предваряя анализ, необходимо отметить главную и существенную для трансформации особенность антропонимов нашей словообразовательной «связки». Они являются нежесткими десигнаторами, признаков по своей сути, для них более естественной является роль предиката предложений, а не субъекта. Их «природная» неререферентность сказывается в том, что как «самостоятельные» они выступают в предложениях, информативно неполноценных (*Смельчака охватила тревога. Нахал спит.*). Такие имена используют

не столько для идентификации предмета речи (не для того, чтобы назвать), сколько для того, чтобы дать о референте некоторую информацию или выразить к нему свое отношение. Использование оценочных имен лица единственно с целью отождествления предмета сообщения в общем случае неуместно. А. Вежибцкая указывает, что обозначения лица типа *подлинный художник, отличный оратор, хороший пловец* непригодны для целей идентификации, т.е. не могут фигурировать в роли субъекта предложения. Автор объясняет это тем, что основная часть их семантического содержания указывает не на объективные признаки лица (референта имени), а на отношение к нему говорящего (Вежибцкая, 1970, 644).

Поэтому, будучи подчиненной для характеризующих имен, идентифицирующая функция должна быть отмечена *формальным показателем*, который, во-первых, определяет референцию таких имен и, во-вторых, делает сообщение *информативно полным*, относя идентификацию самого антропонима к области presupпозиции.

Для анализа материала трансформаций субъекта в ХП в различных структурно-семантических типах предложений объективно существенны два типа прагматической референции – идентифицирующая в ее указательной разновидности с актуализаторами-местоимениями или прилагательными (Е.В. Падучева) и генерализующая, родовая (М.А. Кронгауз), а также логико-семантическая (Н.Д. Арутюнова). Возможность функционирования высказываний под знаком указательной, конкретной референции и генерализующей, неконкретной покажем знаком в скобках факультативных актуализаторов.

Субъект ХП может быть выражен *всеми* компонентами словообразовательной «связки», однако каждый способ выражения скоординирован с определенным предикатом, имеет свои особенности.

Выразителем субъекта-антропонима является не только именительный падеж, но и целый набор словоформ с косвенными падежами и предлогами, а выбор той или иной формы связан со значением и формой предиката.

В соответствии с общей семантикой ХП антропонимы в роли субъекта имеют три общих типа значений: быть субъектом действия, состояния или признака. Субъект в форме именительного падежа «принимает» любое из них: Этот (такой) *силач* поднимает большой груз. (Маленький) *нахал* теперь спит сладким сном. Этот (такой) *смельчак* дерзок.

Выражение субъекта состояния и признака формами косвенных падежей с предлогами подробно описано Г.А. Золотовой (Золотова, 1982, 135-138). В каждую из 15 приведенных автором структурно-семантических схем (учитываются *субъектно-предикатные отношения*) естественным образом вписываются и характеризующие антропонимы – с учетом возможной референтности. Ограничимся единичными примерами: (Этого) *хама* отличает особое бесстыдство. Тусу везде чудится опасность (возможна генерализующая, родовая референция).

Не все субъектно-предикатные отношения в этих структурно-семантических схемах могут подвергаться трансформационным преобразованиям –

это зависит от типа предиката. Семантика предложений может быть связана только с характеристикой лица, а не соотносительного абстрактного имени, и в этом смысле интереса не представляет.

Все структурно-семантические типы, подвергающиеся трансформации, представим в связи с характеристикой абстрактных имен в роли субъекта. Имена отвлеченного признака, связанные с антропонимами синтаксической словообразовательной связью, неоднородны. Можно выделить следующие основные типы:

а) слова, образованные от прилагательных или, возможно, от названий лица, но в одинаковой мере непосредственно связанные с антропонимом, характеризующие их, составляющие суть их смыслового содержания: он смелый - его смелость (аналогично: храбрость, грубость, гордость, наглость, плаксивость, подлость, скупость); трус - трусость (при наличии пары трусливый-трусливость); нахальство - возможно от нахальный и нахал; циничный (формально от циник) - цинизм и под.;

б) слабо дифференцирующиеся в отношении предыдущих абстрактные имен со значением свойства-процесса: хулиганство, плутовство, пронырство (ср. пронырливость), клеветничество, хвастовство (ср. хвастливость), обжорство (ср. разг. обжорливость), шалость (ср. шаловливость) и под.;

в) смыкающиеся с ними абстрактные имена со значением состояния-события: зависть (ср. завистливость), ревность (ср. ревнивость), веселье (ср. веселость), бодрость, счастье;

г) обособленные имена, которые включают в себе значение конкретного воплощения "материализации" признака-действия (они соотносены с глаголом: ложь, лесть, вранье).

Абстрактные имена, независимо от дифференциации их значения, могут иметь множество своих, индивидуальных, контекстов, свои предикаты, которые не соотносятся с антропонимами: Нахлынула ревность, Зависть берет (фразеологически связанные значения имен), Бодрость помогает, Счастье делает людей добрее (абстрактное имя - каузатор состояния); Зависть - губительное чувство, Храбрость - его отличительная черта, Ревность ослепляет (предикат характеризует, квалифицирует, оценивает признак) и др. В таких контекстах имена индифферентны к референции.

Однако в числе структурно-семантических типов предложений с разными формами выражения субъекта и соответствующими предикатами, в общей схеме Г.А. Золотовой есть такие, которые допускают преобразование антропонимов в абстрактные имена, их сосуществование. Субъект-абстрактное имя в этих случаях можно назвать опосредованным способом выражения антропонима. Г.А. Золотова называет такие предикатируемые компоненты высказывания неизосемичными, признаковыми, усложненными, пропозициональными (Золотова, 1982, 144).

По Н.Д. Арутюновой, предложение с признаковым предикатируемым компонентом представляет собою полипредикативную структуру (Арутюнова, 1976, 147). Неизосемичные структуры характеризуются расхождением фун-

кционально-семантических и морфолого-синтаксических признаков номинаций.

Анализируемые абстрактные имена, обозначая свойство, признак лица, опосредованно характеризуют и *носителей* этого признака, т.е. дают возможность осмыслить такую схему: его *подлость* - он *подлец* (он *подлец* - его *подлость*). Используя лексикологический термин, можно сказать, что между признаком и лицом, названным так по этому признаку, существуют *метонимические* отношения.

Покажем здесь все структуры из списка Г.А. Золотовой, в которых неизосемичным способом антропоним характеризуется через отвлеченный признак, т.е. структуры обратимы. С наибольшей очевидностью здесь выступают абстрактные имена, *непосредственно* характеризующие лицо: Этот (такой) *хвостун* все-таки добр - В его (этом, таком) *хвостовстве* присутствует доброта; Этот (такой) *храбрец* отличается особой дерзостью - Его (эта, такая) *храбрость* отличается особой дерзостью; Этого (такого) *хитреца* отличает особое бесстыдство - Его (эту, такую) *хитрость* отличает особое бесстыдство; Для такого *циника* характерна особая жестокость - Для такого *цинизма* характерна особая жестокость (субъект оценки признака); В этом (таком) *лгунишке* нет зависти - В его (этой, такой) *лживости* нет зависти (субъект отрицания); Таких *нахалов* - хоть отбавляй - Такого *нахальства* - хоть отбавляй (субъект количества); *Трусу* везде видится опасность - *Трусость* везде видит опасность (субъект состояния).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в структуре соотносительных конструкций эксплицитно, вербально, с помощью полужнаменательных глаголов (*отличаться, характеризоваться, иметься, присутствовать* и под.) дублируется словообразовательное значение антропонима и абстрактного имени: Хитрец - тот, кто *отличается* хитростью; хитрость - то, что *отличает* хитреца.

В качестве субъекта ХП могут выступать и *прилагательные* - компоненты анализируемой «связки». Будучи субстантивированными, они повторяют все конструкции с антропонимами - без тех ограничений, которые были отмечены при сопоставлении их с абстрактными именами. Единственным условием для возможности трансформации является наличие самих субстантивированных прилагательных (есть единичные случаи семантического «рассогласования» прилагательного и имени: *негодный и негодяй, сонный и соня*).

В позиции субъекта прилагательные повторяют тот же тип референции, что и антропонимы, но, очевидно, проявляют большую способность реализации генерализованной референции. Различителем такой референции является множественное число имени; в случаях, когда употребляется форма единственного числа, она должна быть понята как знак обобщенного множественного. Ограничимся двумя примерами: Таким/ этим *нахалам* (*нахальным*) всегда везет (субъект ситуации); И такому (этому) *храбрецу* (*храброму*) бывает страшно (субъект состояния).

В том случае, если прилагательное образовано от антропонима и не сочетается со словом *человек* (*бунтарский, дикарский, предательский, бандитский, подражательный, разгильдяйский, бездельнический* и под.), его эквивалентом могут быть дескрипции со словами *поступок, действие, поведение, выходка, характер, тип, вид*: предательский поступок, бандитская выходка, бунтарский характер, разгильдяйский вид и под. Такие прилагательные тоже характеризуют лицо, но не непосредственно, а через конкретную детализацию и более близки к абстрактным именам (*предательский* поступок – *предательство* – как промежуточное звено на пути к антропониму). Естественно, что словосочетания не могут замещать собою все позиции субъекта-антропонима, выраженные прилагательным.

Как известно в ХП с субъектом-инфинитивом то общее, что предопределяет параллелизм синтаксического употребления инфинитива и имени, состоит не в предметности, а в семантике действия. Семантика предложений с субъектом-инфинитивом имеет два основных вида:

а) *оценочность*, связанная с потенциальностью значения действия, которое «взвешивается» и получает положительную или отрицательную оценку (Шутить сейчас неуместно);

б) *модальность* в различных ее видах (Шутить можно). Фактически все соотносительные с субъектом-инфинитивом предикаты «укладываются» в эти рубрики: слова категории состояния, качественные/характеризующие наречия, которые эксплицитно или имплицитно содержат в себе оценку состояния (весело, интересно, возможно, отрадно, страшно; страх, грех; веселее, интереснее); собственно модальные слова (можно, нужно, нельзя); эквиваленты тех и других (загладенье, не беда, стоит, не стоит и др.).

Совершенно очевидно, что предложения с субъектом-инфинитивом трансформируются в предложения с отглагольными именами действия, если последние реализованы (*Молчать грех – Молчание – грех*). В нашей словообразовательной «связке» есть абстрактные имена со слабо дифференцируемыми значениями свойства-действия и свойства-состояния, словообразовательно соотносящиеся с инфинитивом. Именно они, в первую очередь, обнаруживают пригодность к трансформации предложений с субъектом-инфинитивом при условии тождества предиката в основном со значением оценочным и выборочно – модальным. При этом в некоторых случаях необходимо, а в других факультативно введение связки *это*: *Нахальничать* нехорошо – *Нахальство* – это нехорошо; *Веселиться* сейчас – глупость – *Веселье* сейчас – это глупость; *Завидовать* незтично – *Зависть* – это незтично; *Хулиганить* нельзя – *Хулиганство* нельзя.

Имена со значением свойства субъекта тоже способны «замещать» инфинитив, однако такие предложения с предикатом оценки заметнее выделяются признаком неполноты разговорной речи: *Завистливость, хвастливость, ревнивость, веселость* – это плохо, плохое качество (хорошо, забавно, интересно и т.д.). В предложениях с субъектом-инфинитивом абстрактные имена не являются эквивалентами антропонимов; к тому же они индифферентны к референции.

Отсутствие инфинитива в «связке» (*циничный* – *циник* – *цинизм*; *смелый* – *смелость*; *скептический* – *скептик* – *скептицизм*; *счастливый* – *счастливец* – *счастье*) лишает трансформацию одного из ее компонентов и уводит в сторону своих дескрипций: проявлять, обнаруживать, выражать (*смелость*, *скептицизм*, *оптимизм* и т.д.).

Материал трансформаций ХП в рамках субъектных отношений подтверждает слова А.А. Уфимцевой о том, что существительные, глаголы и прилагательные выражают отношения между понятиями не только по содержанию, но и в зависимости от их роли в высказывании. Эти отношения зависят и от логических связей, предопределяющих модели семантической совместимости знаков в синтагматическом ряду.

Логико-семантические отношения между предметами (лицами) и их свойствами, признаками, допускают возможность различных трансформаций, деривационных транспозиций, «переход» одной части речи в другую: на уровне словообразовательном (*подлый* – *подлость*, *подличать*, *подлец*) и пропозитивном (Он *подлый*, *подлец* – Он совершает *подлость*, *подличает*). «Характеризующие полнозначные словесные знаки являются тем основным когнитивным звеном..., той постоянной означающей основой, которая обеспечивает непрерывное «оборачивание ролей» (Уфимцева, 1986, 104).

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
2. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
3. Русская грамматика в II т. М., 1980.
4. Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. М., 1986.
5. Wierzbicka A. Descriptions or quotations. «Sing, Language, Culture», t.I. The Hague Paris, 1970.

Е.Ю. Махнева

О формальной и функциональной адаптации англо-американизмов к системе современного немецкого языка

При изучении общей проблемы заимствования элементов одного языка другим одним из наиболее важных вопросов является изучение освоения слова в системе языка-реципиента и признаков освоения иноязычного слова, позволяющих считать его заимствованным. С целью определения таких признаков и критериев и было проведено исследование слов англо-американского происхождения, проникших в лексическую систему современного литературного немецкого языка за период с 1945 по 1999 гг. Материалом для проведения исследования послужил один из самых популярных немецких журналов – «Der Spiegel». На основании обработанного материала и разработанных критериев адаптации была сделана попытка проанализировать степень освоения англо-американизмов, проникших в немецкий язык за последние десятилетия.

Традиционным при определении критериев освоенности иноязычного слова в системе языка-реципиента можно считать подход, предложенный еще в 1968 г. известным отечественным исследователем проблемы языкового заимствования Л.П. Крысиным. Так, Л.П. Крысин выделяет следующие семь условий вхождения слова в систему языка-реципиента (Крысин, 1968):

- 1) передача иноязычного слова фонетическими и графическими средствами заимствующего языка;
- 2) соотнесение слова с грамматическими классами и категориями заимствующего языка;
- 3) фонетическое освоение иноязычного слова;
- 4) грамматическое его освоение;
- 5) словообразовательная активность слова;
- 6) семантическое освоение иноязычного слова; определенность значения, дифференциация значений и их оттенков между существовавшими в языке словами и появившимися иноязычным словом;
- 7) регулярная употребляемость в речи (в различных жанрах литературной речи, наличие определенных парадигматических и «значимостных» отношений с терминами данного терминологического поля).

Позиции Крысина в основном придерживаются и большинство других исследователей проблемы заимствования и освоения заимствованной лексики (Дмитровская, 1969; Дубичинский, 1993; Коротких, 1980; Скачкова, 1990 и др.). Однако целесообразным представляется проведение дополнительного разбиения механизмов адаптации сперва на две большие категории, а затем на отдельные группы уже внутри каждой из двух категорий. Таким образом, механизмы адаптации иностранных слов англо-американского происхождения, обнаруженных в результате проведенного исследования, были разделены на две большие категории:

- 1) механизмы формальной адаптации;
- 2) механизмы функциональной адаптации.

Под формальной адаптацией здесь понимаются всевозможные графические, фонетические, грамматические и словообразовательные видоизменения, которые претерпевает иноязычное слово в системе языка-реципиента, а под функциональной адаптацией – различные аспекты лексико-семантических изменений и использования иноязычных слов носителями языка-реципиента.

В свою очередь, механизм формальной адаптации можно подразделить на следующие четыре категории:

- 1) фонетическая адаптация (фонетическое освоение, проявляющееся в приспособлении заимствованного слова к фонетической системе языка-реципиента, что выражается в субституции чужих звуков эквивалентными или близкими фонетически звуками языка-реципиента);
- 2) графическая адаптация (передача лексем языка-источника графическими средствами языка-реципиента);
- 3) грамматическая адаптация (идентификация заимствования с грамматическими категориями языка-реципиента);
- 4) словообразовательная адаптация (приобретение заимствованной лексемой способности служить основой для образования дериватов в лексической

системе языка-реципиента). На первой стадии адаптации заимствований к системам языков-реципиентов (стадии фонетической адаптации) звуки, составляющие фонетическую форму англо-американизма и являющиеся типичными для американского варианта английского языка, заменяются на соответствующие им немецкие звуки, близкие им фонетически.

Однако здесь необходимо различать фонематическую субституцию (т.е. передачу иноязычного слова фонемными средствами языка-реципиента), которая неизбежна при лексическом заимствовании, и фонетическое освоение заимствованного слова, приспособление его к фонетической системе языка-источника, которое наблюдается уже в процессе функционирования иноязычного элемента в речи и не является признаком, характеризующим всякое заимствованное слово. В случае фонетической адаптации англо-американизмов в немецком языке на современном этапе речь идет скорее о фонематической субституции, чем о фонетическом освоении. Этот процесс имеет место, например, в таких англо-американизмах, как «*toasten*» и «*Roastbeef*» ([?u] изменилось на [o:]). Слова типа «*Puzzle*» и «*Tanker*» адаптировались к системе немецкого языка путем обретения фонетической формы, которая соответствовала бы их графической форме: вместо [pʌzl] произносится [pʊzl], а американское [ˈtʰʔkʰ?] произносится как [ˈtʰʌʔkʰ?] в соответствии с фонетическими нормами немецкого языка. Тем не менее, довольно часто иностранные слова англо-американского происхождения не проходят рассматриваемую стадию адаптации к системе немецкого языка и сохраняют первоначальную фонетическую форму, как это можно наблюдать в таких словах, как «*Recycling*» ([rɪˈsaɪklɪʃ]), «*Single*» ([sɪˈɡl] вместо [ziˈɡl]), что более бы соответствовало фонетическим стандартам немецкого языка, «*Rugby*» ([ˈrʌɡbi], а не [ˈrʊɡbi]) и т.д. Здесь можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития немецкого языка прохождение стадии фонетической адаптации для англо-американизмов не является необходимым для адаптации и интеграции в системе языка-реципиента: было бы ложным предположить, что слово «*Rugby*» является более «случайным», чем слово «*Ketchup*», поскольку оба этих слова выполняют одинаковую функцию (номинативную, так как служат для заполнения лексических лакун, существовавших в немецком языке до их появления) и имеют устойчивые семантические связи в лексической системе немецкого языка (например, в настоящее время существует множество устоявшихся комбинаций и вариаций со словом «*Rugby*»: «*Rugby-Hemd*», «*Rugby-Team*», «*Rugby-Profis*» и т.д.), хотя слово «*Rugby*» и сохранило свою первоначальную фонетическую форму, в то время как «*Ketchup*» полностью адаптировалось к фонетической системе немецкого языка.

На втором этапе адаптации англо-американизмов к системе немецкого языка их графическая форма претерпевает изменения в соответствии с графическими нормами и правилами языка-реципиента. Для немецкого языка этот процесс не представляет особых трудностей, поскольку и немецкий, и английский языки используют одну и ту же графическую систему, основанную на латинском алфавите. В качестве примеров можно привести такие англо-

американизмы, как «code» и «shock», трансформировавшиеся в результате адаптации соответственно в «Kode» и в «Schock». Тем не менее, в немецком языке здесь наблюдается тенденция сохранять первоначальную графическую форму заимствуемого английского слова («Know-how», «Team», «Queen» и т.д.).

При прохождении англо-американизмами стадии грамматической адаптации к системе немецкого языка наблюдается обретение категории рода и получение одного из трех артиклей, принятых в немецком языке – артикля мужского, женского или среднего рода (если это существительные). Достаточно очевидно здесь прослеживается тенденция распределения заимствований по категориям рода прежде всего на основании их семантики: «die Queen», «der Ami» как «amerikanischer Soldat» – сравните это слово с «die Ami» как «amerikanische Zigarette» и т.д.

Род неодушевленных существительных часто определяется какими-то их внешними формальными свойствами – например, англо-американизм может получать род немецкого слова, сходного с ним по своему произношению или написанию или имеющего одно и то же или подобное значение («die High-Society» по аналогии с «die Gesellschaft», «der Star» по аналогии с «der Stern», «die Story» по аналогии с «die Geschichte» и т.п.):

“Auf Hip-Hop-Veranstaltungen verteilte Odem Autogramme, und er reiste quer durch Deutschland, nach Dortmund und Munchen, um als ein Gast-Star zu spruhen.” (“Der Spiegel”, № 18/28.4.97, с. 141).

Другой тенденцией представляется причисление к одной и той же категории рода существительных, обладающих одинаковым суффиксом. Например, англо-американизмы, имеющие суффикс «-ion», обычно причисляются к женскому роду («die Frustration»), в то время как англо-американизмы, обладающие суффиксом «-ing», приписываются к среднему роду («das Happening», «das Aquaplaning» и т.д.):

“Allein die Dusseldorfer Otelo will, so Veba-Chef Ulrich Hartmann, in diesem Jahr rund hundert Millionen Mark fur Anzeigen, Plakate und das Sponsoring ausgeben.” (“Der Spiegel”, № 10/3.3.97, стр. 97).

В том же, что касается категории числа, общей тенденцией для существительных англо-американского происхождения является получение суффикса «-s» при использовании во множественном числе, что является результатом несомненного влияния грамматических норм английского языка:

“Mit immer neuen Computertricks entlocken die Forscher den zur Ende gefunken Bildern bislang ungesehene Details.” (“Der Spiegel”, № 15/7.4.97, с. 7)

Словообразовательная адаптация англо-американизма имеет место тогда, когда слово, заимствуемое из американского варианта английского языка, образует целый ряд различных вариантов и комбинаций на основе немецких слов и словообразовательных элементов. Примером слова, прошедшего такую адаптацию, можно считать «pop(ular)» с его производными “poppen”, “poppig”, “Pop” и т.д.:

“Genauso drehe ich durch bei Soap-Opera-Popstars wie zum Beispiel Jason Donovan.” (“Der Spiegel-Extra”, № 3, 1997, стр. 9).

Механизм функциональной адаптации включает в себя различные аспекты лексико-семантических изменений и использования заимствований носителями языка-реципиента. В нем можно выделить следующие две подкатегории:

1) лексико-семантическая адаптация (становление лексического значения иноязычного слова в новой языковой среде);

2) стилистическая адаптация (приобретение заимствованным словом широкого употребления в литературном языке (в нескольких стилях)).

Во время лексико-семантической адаптации слова англо-американского происхождения становятся частью семантической системы языка-реципиента путем приобретения синонимов и установления как родовых, так и видовых связей таким образом, чтобы они могли использоваться без каких-либо пояснений и в своей независимом и точном значении. Эту стадию прошли такие англо-американизмы, как *"Team"*, *"Job"*, *"Story"* и многие другие, которые на современном этапе имеют в немецком языке устойчивые синонимы и обладают родо-видовыми связями в системе современного немецкого языка.

В процессе установления семантических связей со словами языка-реципиента англо-американизмы приобретают определенный стилистический статус – они обретают некоторые эмоциональные или экспрессивные оттенки или утрачивают те оттенки, которые они обладали в системе английского языка (например, становятся словами из общепотребительной лексики, или сленговыми словами, или терминами, и т.п.).

Слова англо-американского происхождения, которые бы за исследуемый период полностью прошли все стадии как формальной, так и функциональной адаптации, во время исследования обнаружены не были, что дает основания утверждать, что все они являются лишь иноязычными словами, но никак не полностью ассимилированными заимствованиями. Обяснением этому является тот факт, что в данном исследовании был рассмотрен только относительно короткий временной период осуществления языковых контактов между американским вариантом английского языка и немецким языком, и, следовательно, слишком рано утверждать, станут ли рассмотренные иноязычные слова заимствованиями в полном смысле этого слова или так и останутся случайными «вкраплениями», которым суждено через какое-то время исчезнуть из системы языка-реципиента, так и не закрепившись в нем и не образовав устойчивых лексико-семантических связей внутри этой системы.

Литература

1. Дмитриевская Е.И. Фоно-орфографическое, морфологическое и лексико-семантическое освоение англицизмов современным немецким языком. Дис. канд. фил. наук. Львов, 1969.
2. Дубичинский В.В. Лексические параллели. Харьков, 1993.
3. Коротких Ю.Г. Лексические заимствования в современном немецком языке. Воронеж, 1980.
4. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968.
5. Скачкова В.В. Немецкие лексические заимствования в современном украинском литературном языке. Дис. канд. фил. наук. Харьков, 1990.

Синонімія та антонімія як типи системоформувальних відношень в українській граматичній терміносистемі

У сучасному українському термінознавстві синонімію та антонімію термінів вважають різновидами системоформувальних парадигматичних відношень у межах кожної терміносистеми. Об'єктом дослідження у цій статті є синонімічні та антонімічні терміни, що функціонують в українській граматичній терміносистемі (далі УГТс).

1. *Синонімія термінів в УГТс.* Відзначимо, що проблема синонімії термінологічних одиниць не має в науковій літературі одностайного вирішення. Власне, це питання містить два дискусійні аспекти: теоретичне осмислення синонімії термінів та практична потреба в них у межах кожної конкретної терміносистеми.

На рівні теоретичного обґрунтування синонімії в термінології на сучасному етапі принципово важливим видається розмежування явищ термінологічної синонімії та термінологічної варіантності. У науковій літературі зазначена проблема вирішується трьома шляхами.

1. Синонімія вважається одним із виявів варіантності [2:74–77; 4:17–23]. З цього погляду синонімія в межах терміносистеми розглядається як вияв лексичної варіантності слова (поряд із фонетичною, морфологічною, синтаксичною).

2. Варіантність вважається одним із виявів синонімії. Такі думки висловлюють, зокрема, автори підручника «Українське термінознавство» [3:182–186].

3. Явище синонімії та явище варіантності розмежовуються [5:171–174; 6:178–180]. З цього погляду синонімія в термінології розуміється як різнокореневі слова, що називають те саме поняття, а термінами-варіантами вважаються фонетичні, морфологічні (у тому числі й словотворчі) модифікації спільнокоренових слів-термінів та синтаксичні модифікації словосполучень. Такий підхід, на нашу думку, не тільки дозволяє певним чином відокремити ті чи інші явища, які спостерігаються в сучасних терміносистемах, але й підкреслити системоформувальну роль синонімії, адже саме корінь, передаючи значення слова, дозволяє термінові у матеріальній формі репрезентувати поняття.

Щодо того, чи потрібна синонімія у сучасних терміносистемах, чи її слід свідомо уникати, то тут серед науковців також немає єдиного погляду на цю проблему.

На перших етапах українського термінотворення панувала думка про необхідність синонімії, вважалося, що це сприятиме розвитку термінології. У наш час окремі дослідники також відзначають, що «синонімія в мові науки відіграє не лише деструктивну, а й конструктивну роль» [5:171]. Багатьма науковцями обстоюється небажаність синонімії; проміжну позицію займають ті дослідники, які вважають, що синонімія є все ж таки небажаним

явищем у термінології, але піроковживаним, тому доцільно їх зберігати «з метою забезпечення спадкоємності національної термінології» [6:179–180].

Досліджуючи УГТс, ми виділили у її складі дві групи синонімів:

1) абсолютні синоніми, тобто синонімічні пари «міжнародний термін – національний відповідник»;

2) синоніми на національній мовній основі.

Абсолютна синонімія в УГТс є досить поширеним явищем. Вона спостерігається в таких понятійних категоріях, як категорія субстанцій (особливо в підкатегорії морфологічних субстанцій): *адвербатив – прислівник, ад'єктив – прикметник, субстантив – іменник*; категорія властивостей: *адвербіальність – прислівниковість, імперсональність – безособовість, предикативність – присудковість*; категорія процесів: *транспозиція – міжкатегоріальний перехід*. В абсолютних синонімах спостерігаємо різноманітну кореляцію структур:

а) термін-слово – термін-слово: *персональність – особовість, прономен – займенник*;

б) термін-слово – термін-словосполучення: *вокатив – кличний відмінок, генетив – родовий відмінок, імператив – наказовий спосіб дієслова, інфінітив – неозначена форма дієслова*.

У межах абсолютної синонімії в УГТс розвинулися окремі словотворчі ланцюжки: *ад'єктив, ад'єктивний – прикметник, прикметниковий; предикат, предикативний, предикативність – присудок, присудковий, присудковість; субстантив, субстантивний – іменник, іменниковий*.

Наявність абсолютної синонімії в УГТс пояснюється, на наш погляд, як позамовними, так і внутрішньомовними причинами. Серед зовнішньомовних варто назвати насамперед історичний шлях розвитку УГТс, а також те, що ці іншомовні терміни, вживані паралельно до національних відповідників, мають інтернаціональний, міжнародний характер.

Серед внутрішніх для УГТс причин слід зазначити, що не всі іншомовні терміни перекладаються на українську мову безпосередньо терміном. Так, наприклад, у ланцюжку *субстантив, субстантивний, субстантивізація, субстантивований* безпосередньо терміном перекладаються тільки два запозичення: *субстантив – іменник, субстантивний – іменниковий*, іншомовні терміни *субстантивізація* та *субстантивований* перекладаються описово: «перехід до категорії іменника», «той, що перейшов до категорії іменника». Отже, запозичення у певних випадках виявляються більш зручними у використанні.

В УГТс фіксуються також синоніми на українській мовній основі, їх кількість дуже обмежена порівняно з явищем абсолютної синонімії. Це, зокрема, синоніми: *граматичний лад мови – граматична система мови, грамати́ка – граматична наука, безсполучникове речення – безсполучникова конструкція, речення – предикативна одиниця*.

На наш погляд, ці синоніми мають цікавий механізм утворення, підґрунтям якого є відношення між поняттями. За нашими спостереженнями, синоніми такого типу утворюються шляхом:

а) співвіднесення з найближчим родовим поняттям: наприклад, для терміна *граматика* найближчим родовим терміном є термін *наука*, звідси синонім *граматична наука*;

б) співвіднесення з родовим поняттям на більш високому ступені поділу: родо-видовими відношеннями послідовно пов'язані терміни *синтаксична одиниця* – *речення* – *складне речення* – *безсполучникове речення*, шляхом співвіднесення першого й останнього термінів у цьому ланцюжку до терміна *безсполучникове речення* утворюється синонім *безсполучникова одиниця*.

в) співвіднесення з родовим поняттям і актуалізацією видової ознаки: родо-видовими відношеннями послідовно пов'язані терміни *синтаксична одиниця* – *речення* – *складне речення* – *безсполучникове речення*, водночас видовою ознакою речення є те, що це синтаксична одиниця-конструкція, шляхом співвіднесення першого й останнього термінів у наведеному родо-видовому ланцюжку й актуалізації наведеної ознаки до терміна *безсполучникове речення* утворюється синонім *безсполучникова конструкція*.

Отже, синоніми на національній мовній основі в УТТс у своєму підґрунті мають певні понятійні механізми. На наш погляд, у наукових текстах така синонімія може мати позитивний характер для урізноманітнення викладу матеріалу й актуалізації зв'язку понять.

У той же час у сучасних граматичних текстах зустрічаються псевдосиноніми типу *безсполучникове утворення*, *сурядне посднання*, що не мають понятійної основи в межах УТТс. Використання цих виразів позбавляє науковий текст точності, понятійної спрямованості, тому вони повинні кваліфікуватися як негативне явище.

2. *Антонімія термінів в УТТс*. Як уже зазначалося, у сучасному термінознавстві антонімію, поряд із синонімією, вважають одним із типів системуючих парадигматичних відношень, що спостерігається в кожній галузевій терміносистемі. Однак зауважимо, що на сьогодні у вітчизняній термінознавчій науці немає єдиного погляду на природу та сутність антонімічних відношень між термінологічними одиницями, у той же час як теорія антонімії загальноновживаних слів є розробленою та несуперечливою.

У широкому розумінні антономія в термінології постає як якісно багатогранна категорія, що за своєю сутністю є відображенням поляризації понять. Такий погляд на природу антонімічних відношень подано, зокрема, у підручнику «Українське термінознавство». Автори підручника зазначають, що поляризація понять може мати два ступені вияву. По-перше, поняття можуть поляризуватися шляхом розрізнення за диференційною ознакою, по-друге, поняття можуть поляризуватися шляхом фронтальної протилежності значень.

Однак це важливе, на наш погляд, теоретичне положення не підкріплюється конкретними прикладами, а власне антономія термінів у зазначеному підручнику розглядається тільки на рівні термінів-слів, тобто у межах науково-технічної термінології української мови виділяються лексичні та словотвірні антоніми. Подібні погляди застосовуються також і під час аналі-

ізу окремих галузевих терміносистем, зокрема у роботах Т. Лепехи /1:14-16/, Цимбал /7:188-192/.

У вузькому розумінні антонімічні відношення у термінології розглядають за аналогією до сутності явища антонімії у загальнолітературній мові, тобто антонімами вважаються тільки ті терміни, що характеризуються фронтальною протилежністю значень. Хоча такий підхід є досить поширеним як у вітчизняному, так і в зарубіжному термінознавстві, він, на наш погляд, суттєво збіднює розуміння антонімії термінів як типу системоформувальних відношень у кожній конкретній терміносистемі, оскільки замість охоплення складної мережі протиставлень понять висвітлює тільки їх частину.

Вважасмо, що антонімічні відношення в УГТс ґрунтуються на двох типах логічного зв'язку між термінами: протиставному логічному зв'язку, коли терміни поляризуються за певною диференційною ознакою, і протилежному логічному зв'язку, коли терміни характеризуються фронтальною протилежністю.

В УГТс виділяємо насамперед антоніми, що об'єднуються зв'язком протиставлення: *власне-прикметник – невластиве-прикметник, істота – неістота, однорідність – неоднорідність, особовість – безособовість, назва рахованого предмета – назва нерахованого предмета, повнозначне слово – неповнозначне слово, речення розчленованої структури – речення нерозчленованої структури*.

З огляду на те, якою саме частиною терміна передається протиставне значення, виділяємо різнокореневі та спільнокореневі антоніми. Відзначимо, що в різнокореневих антонімах протиставлення реалізується шляхом семантичного протиставлення коренів: *активний стан дієслова – пасивний стан дієслова, власна назва – загальна назва*. Однак протиставлення коренів для граматичних термінів антонімів у межах цієї групи – явище непоширене, невизначальне для УГТс.

Регулярними засобами вираження протиставних антонімічних відношень для термінів в УГТс є префікси. Спільнокореневі антоніми з протиставним значенням творяться насамперед чергуванням префікса з його відсутністю: *граматично залежне слово – граматично незалежне слово, особове дієслово – безособове дієслово, речення з координованими головними членами – речення з некоординованими головними членами*. Найпоширенішим в УГТс засобом передавання протиставного поняття є прислання до терміна префікса-заперечної частки *не-*: *доконаний вид – недоконаний вид, перехідне дієслово – неперехідне дієслово, узгоджене означення – неузгоджене означення*. Продуктивним у цьому відношенні є також префікс *без-*: *особове дієслово – безособове дієслово, сполучниковий зв'язок – безсполучниковий зв'язок, складне сполучникове речення – складне безсполучникове речення*. Відзначимо також іншомовний префікс *ім-*, що є аналогом українського *не-*: *персональність-імперсональність, перфективація – імперфективація*.

В УГТс спостерігаємо також антоніми, що об'єднуються логічним зв'язком протилежності: *монопозитивність – поліпозитивність, монопродикативне речення – поліпродикативне речення, просте речення – складне*

речення. Щодо ознаки, на ґрунті якої вони протиставляються, можемо виділити:

а) терміни, що протиставляються за кількісною ознакою: *однойдерне речення* – *двойдерне речення*, *монопредикативність* – *поліпредикативність*;

б) терміни, що протиставляються за просторовою ознакою: *препозиція* – *постпозиція*, *препозитивне означення* – *постпозитивне означення*;

в) терміни, що протиставляються за статтевою ознакою: *маскулізм* – *фемінітатив*.

Отже, явище антонімії в УГТс реалізується у двох типах антонімів: таких, що протиставляються за певною диференційною ознакою, і таких, що характеризуються фронтальною протилежністю.

Таким чином, у межах граматичної терміносистеми української мови спостерігаємо явища синонімії та антонімії граматичних термінів, що виступають як системоформувальні відношення. Виділяємо граматичні терміни-синоніми на національній мовній основі та абсолютні синоніми «запозичений термін – національний відповідник»; антонімія в УГТс виявляється у двох типах антонімів – за однією диференційною ознакою і за фронтальною протилежністю.

Література

1. *Лепеха Т.* Лексико-семантичні особливості термінів судово-медичної експертизи // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць / НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології. К., 1998.
2. *Малевиц Л.* Варіантність гідромеліоративної термінології у прикладному аспекті // Українська термінологія і сучасність: Матеріали II Всеукраїнської наук. конференції. К., 1997.
3. *Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П.* Українське термінознавство: Підручник. Львів, 1994.
4. *Пристаїко Т.С.* Научно-технические термины-варианты и их типы // Функционирование терминов науки и техники в современном русском языке. Днепропетровск, 1986.
5. *Соколовська Т.* Синонімія та антонімія як базові парадигматичні класи в українській терміносистемі з генетики // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць / НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології. К., 1998.
6. *Сташко М.* Абсолютні синоніми в бібліотечній термінології // Там же.
7. *Цимбал Н.* Антонімічні відношення в термінології органічної хімії // Там же.

Е.П. Мосьпан

Функциональные особенности собирательных имен в аспекте логико-грамматической референции

Собирательные существительные в специальной литературе изучались, в основном, в качестве единиц, образующих словообразовательный или лексико-грамматический разряд (в другой терминологии – категорию). Основное внимание уделялось, как правило, выделению и описанию формальных признаков, необходимых для отнесения лексемы к этому разряду. Лишь в некоторых работах последнего времени [5, 9, 10] основой анализа становился

комплексный лингво-философский подход с позиций общей теории языка. Из работ, посвященных собственно функционированию собирательных имен, нам известна лишь одна работа [6].

Для определения функций собирательных имен существенным является анализ их референтных особенностей. Это может способствовать и более глубокому пониманию феномена таких языковых единиц.

Общее определение референции Н.Д. Арутюнова сформулировала как отнесенность к объектам действительности (референтам, денотатам) актуализованных (включенных в речь) имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов [7:411]. В ряде исследований референция понимается более широко, распространяясь и на предикаты и высказывания в целом [2, 8].

Теоретики референции Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев выводят это понятие из сферы речи в сферу языка, т.е. рассматривают его на уровне языковых знаков. Когнитивная референция выявляет тип обозначаемого объекта, его характеристики, отражающие свойства обозначаемой действительности, не обусловленные типом коммуникативной ситуации [3:204]. Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев вводят понятие когнитивной референтности и отмечают онтологическую и гносеологическую референцию конкретных имен и когнитивную собирательных. Это заключение можно подтвердить связью собирательных имен с абстрактными: несчисляемостью, нераздельностью (слитностью) составляющих возможных единиц и актов, существованием не в мире вещей, а в ментальном мире [12:133]. О близости к абстракции писал В.А. Виноградов [7:473]. Реально существующие именованья (предметы мира) собраны человеческим разумом в единства, которые даже в случаях возможного соотнесения на уровне их семантики и прагматики оказываются неравнозначными разделительному множественному числу (возможны семантические и коннотативные "добавки" (см. об этом ниже).

Речевая актуализация имен и именных групп может быть связана с разными факторами: логико-семантическими и собственно прагматическими. Рассмотрим здесь логико-семантическую референцию, основы которой изложены в работах Дж.М. Милля, Г. Фреге, Б. Рассела, Р. Карнапа и Н.Д. Арутюновой.

Имеющий логические основания этот тип речевой референции дает возможность показать особенности функционирования собирательных имен в их соотнесенности с раздельным множеством.

С логико-семантическим фактором связаны следующие типы отнесенности именных выражений к объективной действительности: референция к одному члену того или другого класса объектов; к некоторой части класса; к охарактеризованному определенным признаком подклассу, к целому классу; к любому (каждому, всякому) представителю класса. Все они предполагают наличие класса объектов, из которого выделяется либо часть, либо единица, член класса. Выделение части из множества является универсальным во всех теориях множеств, в то время как выделение единицы не всегда воз-

можно в классической теории множеств. Поэтому, как пишут Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев "...интерпретация естественно-языковой квантификации, скорее всего, должна быть основана не на классической теории множеств, а на теории множеств (set-theory), аксиоматика которой разработана Г. Бантом (ensemble-theory)" и в основу которой положено не отношение "элемент – множество", а отношение "часть – целое". [4:193–194]

Понятия "класс" и "множество" широко используются в работах логико-философского направления. Данные Философского и Логического словарей не выявляют существенных различий между ними: класс определяется через множество, а множество определяется через класс, хотя есть основания полагать, что класс существует не для каждого множества и следует разграничивать эти два понятия. Так, при выделении общего признака говорят о существовании множества, напр., белых объектов, но не о классе белых объектов. Об отсутствии класса можно говорить в явных случаях, когда единицу, имеющую черты сходства и различия с другими единицами класса, вообще нельзя определить – например, о производных или непроизводных в современном языке не от существительных именах с синтаксически обусловленными, по В.В. Виноградову, значениями, которые Е.В. Падучева определила как предикатные по своей природе, граничащие с экспрессивами: *старье, голь, гальтуба, беднота, босота, хлам, ружьё*. Значения слов типа *зверье, мошкара, живность, нечисть, нежить* являются как бы безразличными к классу. В отношении подобных имен Д.И. Руденко употребляет метафорическое определение "размытое" множество, когда дискретные единицы несущественны.

Референция к целому классу на уровне речевом может быть реализована в генерализующих суждениях и, по мнению Н.Д. Арутюновой, выходит на уровень прагматики. Как представляется, определяющим фактором для построения генерализующего высказывания с собирательным именем в функции субъекта является существование некоего стереотипа для множества, в котором единицы "нивелируются" по пространственно-временным характеристикам, но объединяются какими-то общими для подавляющего большинства типичными качествами. Такие высказывания характеризуются отсутствием временной связи предиката с субъектом (иными словами, выступает нелокализованное время [2:93]), а их предикат выступает в качественном значении (в противопоставлении эпизодам и явлениям).

Представляется, что организация генерализованных высказываний определяется содержательным "сопряжением" субъекта и предиката и является универсальной для всех категорий слов, в том числе и для собирательных имен: *Студенчество борется за свои права; Студенты борются за свои права; Терпение вознаграждается; Железо плавится*. Референция к классу (множеству), вероятно, не является релевантной для выявления специфики собирательных имен и особенностей их функционирования.

Референция по отношению к классу и части класса реализуется, как известно, с помощью кванторных слов (квантификаторов) *много, немного, мало, немало, многие, немногие, некоторый, каждый, любой, всякий, весь*.

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев выделяют два типа квантификации. Первый тип — логическая квантификация, при которой “оценивается количественное соотношение референта именной группы (ИГ) с “исходным” (“объемлющим”) множеством. Кванторное слово при этом типе квантификации, подобно логическому квантору, указывает на совпадение референта с “объемлющим” множеством”, причем “в роли исходного множества могут выступать и конечные множества объектов, задаваемые описанием или находящиеся в “поле зрения” участников коммуникации” [4:194]. Второй тип — прагматическая квантификация, при которой кванторное слово “оценивает референт не по отношению к какому-либо объемлющему” множеству, а по сравнению с некоторым стереотипом — тем количеством, которое говорящий ощущает нормальным для данной ситуации” [4:194]. Для нашего анализа существен первый тип квантификации, репрезентативный для выявления их феномена в сопоставлении с разделительным множеством. Конкретные числоизменяемые имена в силу однородности и дискретности обозначающих единиц естественным образом соединяются с кванторами: (Не)много, (не)мало столов, коней, солдат; (не)многие вещи, люди, кони; каждый, любой, всякий стол, солдат, конь.

В силу своей семантики наречия много, немало, мало, немного могут употребляться только с собирательными существительными с вещественно-недискретным значением, у которых единица не выделяется или выделяется описательно, как квантификатор массы (много хлама, рухляди, старья, зелени), а также с коннотированными именами много солдатни, ребятни, офицера, бабья, в которых основной недискретности является оценочный компонент значения. Не все из кванторов в силу своей семантики могут сочетаться с собирательными именами. Не используется с собирательными существительными квантор многие, так как он требует множественного числа, а собирательные имена в подавляющем большинстве принадлежат к Sing. T. Местоимения каждый и любой используются только с числоизменяемыми именами или именами с окказиональным множественным числом, т.е. в тех случаях, когда внутреннее собирательное значение отходит на второй план, как бы игнорируется, и объект воспринимается как дискретный (каждая/любая аппаратура, каждая/любая клавиатура, каждая/любая видеотека).

Определительное местоимение всякий с собирательными именами сочетается ограничено. При его употреблении с существительными типа коренье, ретье, зелень, аппаратура и таксонимами типа одежда, белье, парфюмерия и под. реализуется значение “разный, разнообразный, всевозможный, всех видов”. Его другое значение — “каждый” — совместимо только с числоизменяемыми собирательными именами типа народ, нация, партия, семья. При использовании с оценочными существительными с финалиями -ня, -ье, -ота, -щина (независимо от степени дискретности) реализуется переносное значение местоимения, усиливающее негативную оценку, привносимую суффиксами.

Почти универсальным определительным квантором для собирательных имен является местоимение весь (весь, вся, все) с двумя своими значениями:

дискретным значением “в полном составе” при тотальной референции и недискретным “в полном объеме” при распределительной референции самого высказывания.

При его употреблении с существительными типа *студенчество*, *купечество*, *пионерия*, *аристократия* (множества, состоящие из дискретных, однородных единиц) представляется более оправданным говорить не о тотальной соотнесенности высказывания, а о соотнесенности с большинством единиц данного множества. Связано это, вероятно, с неопределенно большим составом множеств. В то же время существительные типа *командование*, *директорат*, сочетаясь со словом *весь*, подразумевают именно полный состав множества (*командование*, *администрация*, *директорат в полном составе*). Думается, что здесь сказывается достаточная определенность, узость, возможно, даже замкнутость состава. При сочетании местоимения *весь* с таксонимами реализуется значение разновидностей: *вся парфюмерия* – *все виды парфюмерии*, *вся бижутерия* – *все виды бижутерии*, *вся мебель* – *все виды мебели*. В то же время при конкретной соотнесенности высказывания (*Сдать в химчистку всю одежду*; *Вся мебель сломана*) подразумевается именно конкретное множество.

Логико-семантическая референция к одному члену класса, принимая во внимание разнородность и “пестроту” единиц, относимых нами к числу собирательных, проявляется наиболее сложно, в отличие от свободно изменяющихся по числам **конкретных** имен (*купец* – *купцы*, *береза* – *березы*).

Поиск и обоснование единицы множества (“обратный ход” от множества к единице) связаны с пересечением действия целого ряда факторов, главным из которых является **числоизменяемость**. Допускаем, что свободная числоизменяемость или ее возможность приводит к ситуации, когда множественное число является сигналом того, что единственное число является даже независимо от его семантики единицей этого множества. Существенны также признаки производности/непроизводности от определенных частей речи, типа мотивации и ее направления, определяемая на денотативном уровне дискретность/недискретность, однородность/неоднородность единиц, а также их “несущественность” как составляющих множества (“размытое” множество, по Д.И. Руденко); коннотированность собирательных единиц, специфика числоизменяемых именованных множеств, выделяемых на лексическом уровне.

Однородные множества, заключенные в собирательных именах *Sing. T.*, мотивированных существительными, эксплицируют единицу со всей очевидностью (*купечество* – *купец*), что и послужило обоснованием так называемого треугольника А.А. Реформатского (*купец* – *купцы* – *купечество*). Однако даже в этом случае собирательное имя не равнозначно множественному числу, что показывает семантический анализ, подтверждаемый сочетаемостными свойствами имен на уровне прагматической референции. Приравнивание словообразовательной единицы к грамматической нивелировало бы все “добавки”, которые вносит словообразовательный суффикс. Среди лексем этой группы есть лексемы “леса” (*березняк*, *дубняк*, *ельник*, *ивняк*). Их

обычно рассматривают в группе Sing.T., однако их множественное число в принципе возможно и выступает в том же значении, что и в слове *лесб* (слабо очерченный лесной массив булыпей интенсивности, чем это представляется для "одного" леса). Соотнесенность с единицей является формальной. Искусственно культивируемая роща, занимающая более определенную площадь (признак дискретности), обозначается свободно числоизменяемым словом, подвергшимся опрощению и не эксплицирующим единицу даже посредством восстановленной связи: *расти* — *роща*.

Собирательные имена Sing.T., мотивированные прилагательными или глаголами, не эксплицируют единицу даже формально. В идиоматичном словообразовании выступает лишь признак мотивации, а лексема собирательности конвенционально соответствует либо одному денотату (*молодежь* — люди; *зелень* — зеленые растения; *молодь* — молодые пчелы; *рассада* — молодые растения, выращиваемые в парниках для последующей пересадки), либо неопределенному (по Н.Д. Арутюновой) или даже любому (*старье* — люди; старые, ненужные предметы; *мелочь* — мелкие монеты, животные, дети — с коннотативно-оценочным компонентом значения). Единицы таких имен устанавливаются лишь дефинитивно (иногда с участием мотивирующего компонента значения: *молодь* — молодые пчелы). Множество может быть "размытым": *сушняк* — сухие деревья, кусты, сухой лес. Эти имена и не склонны к образованию под воздействием системы числоизменяемости даже окказионального множественного числа в возможном квалификативном значении, т.е. единственное число не выступает как единица множества (ср.: например, *аппарат* — *апаратура* — *аппаратуры*; *клавиша* — *клавиатура* — *клавиатуры*).

Числонеизменяемые существительные, обозначающие собирательные множества разнородных (в терминах А.А. Уфимцевой), иногда даже разноразноуровневых единиц, характеризуются смешанным составом. Они обозначают комплексные понятия определенных учреждений, включая их штат, функции, установления и, окказионально, даже само помещение [12:126], а также род войск, включая военнослужащих и соответствующее вооружение и др. В этом случае производность собирательной единицы и тип словообразования играют существенную роль для выделения единицы множества. Одни из них мотивированы именами существительными, которые обозначают лицо, и в силу комплексности множества мотивирующие не могут быть единицей множества (*генерал* — *генералитет*, *ректор* — *ректорат*, *секретарь* — *секретариат*).

Другие, мотивированные прилагательными и глаголами, тем более не дают возможности определить ее (*пеший* — *пехота*; *руководить* — *руководство*, *править* — *правительство*); третьи являются непроизводными заимствованными единицами, и поиск единицы по словообразовательному критерию вообще исключен (*администрация*, *гвардия*, *аппарат*, *полиция*, *милиция*, *артиллерия*, *кавалерия*). Некоторые из таких имен под воздействием системной числоизменяемости "склонны" к образованию множественного числа не в счетном, а в квалификативном значении (*администрации двух вузов*; *пра-*

вительства двух стран; гвардии, генералитеты обеих армий) и тогда они представляют собой **единицу** со значением комплексного множества.

Собственно единица, достаточно условная, определяется аналитически (член правительства, работник, член директората, аппарата) или как результат "обратного" словообразования (полиция – полицейский, милиция – милиционер, гвардия – гвардеец, кавалерия – кавалерист, пехота – пехотинец).

Основанием для выделения в особую группу так называемых *таксонимов* (одежда, обувь, белье, упряжь, мебель, парфюмерия, галантерея) послужили не только их числонеизменяемость и соответствие в целом иерархически организованным денотатам, но и их отличие от числоизменяемых таксонимов. В их семантику неэксплицитно входят "строевые" единицы со значением **вид, разновидность**, о чем могут свидетельствовать различия в структурах: *Животное кошка; Металл золото* – и **Парфюмерия одеколон, *Мебель диван*, а также в норме: *Кошка – животное; Одеколон – вид парфюмерии* и абсолютно невозможное **Кошелек – галантерея*.

На денотативном уровне единицы собирательных таксонимов Sing.T. представляют собой сложную и индивидуализированную систему организации, изменяющуюся и пополняемую в связи с тем, что все они являются **артефактами**.

Таксоны каждой из собирательных единиц этого типа в целом подчинены принципу родо-видового и подвидового перекрещивающегося членения: напр., *одежда* как род – ее виды и подвиды (*верхняя, нижняя, зимняя, летняя* и т.д.) и конкретные составляющие (*верхняя: пальто, шуба, плащ* и т.д.). На нижнем уровне членения проявляются "вещные", в целом числоизменяемые составляющие. Конкретные существительные каждого таксона можно считать единицей соответствующего уровня.

Сами гиперонимы (среди них есть и единицы фразеологизированного словообразования: *белье, упряжь*) к образованию множественного числа не способны, и как единицы множества не выступают. Кваликативное множественное число выступает в случаях сужения экстенционала с помощью атрибуции: *декоративная косметика, женская парфюмерия, чешская бижутерия, пластиковая мебель*.

Группу числоизменяемых собирательных существительных ограничиваем лишь случаями **однородных** на денотативном уровне множеств (**лиц**), **единицы которых нуждаются в экспликации**. Это производные и непроизводные слова типа *нация, народность, партия, раса, семья, армия, войско, дружина, сословие, совет* и подл. Членство компонентов подобных множеств выражается конвенционально и в соответствии с лексическим значением имени при помощи "строевых единиц": *представитель (нации, народности, расы), член (семьи, совета)*. Именно такой материал П.А. Соболева трактовала как возможную реализацию содержательной грамматической функции числа [11:58].

Ввиду числоизменяемости лексически собирательных единиц ситуация с единицей множества уже в узусе приобретает сложный вид: единственное

число представляет одновременно единицу множества (*нация – нации*) и множество (*нация – представитель нации, принадлежащий к ней*).

Определение единицы множества коннотированных имен упрощается в связи с тем, что эти множества в основном однородны, а имена образованы от существительных (*солдатня, матросня, солдаты, бабье, мужичье, старичье, мальшья, воронье, интеллигентщина*). Выступая как “дубли” множественного числа, такие лексемы, помимо собирательности, заключают в себе и коннотированные составляющие семантики (оценку, эмотивность, экспрессию).

Выделение и способы номинации единицы собирательного множества, как и выделение его части, обнаруживают специфические особенности, которые при дальнейшем сравнении обнаруживают черты сходства с теми, которые характерны для области логико-семантической референции имен с абстрактной семантикой.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998.
2. Бондарко А.В. Буланин Л.Л. Русский глагол. Л., 1967.
3. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Когнитивные характеристики языковых выражений // Язык и логическая теория. М., 1987.
4. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
5. Васильева В.Ф. Виды логической абстракции // Вестник МГУ, серия 9 Филология, 1993, № 1. С. 18–26.
6. Лешкова О.О. Функционирование собирательных существительных // Вестник Моск. ун-та, Сер. 9 Филология, 1983, № 3. С. 50–56.
7. Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В.Н.Ярцевой. М., 1990. 473 с.
8. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
9. Потапова М.Д. Семантика грамматической категории числа в свете понятия множества // Изв. АН СССР, сер. лит. и яз. Т.42, 1983. № 2.
10. Руденко Д.И. Имя в парадигмах философии языка. Харьков, 1990.
11. Соболева П.А. Лексикализация множественного числа и словообразование // Лингвистика и поэтика. М., 1979.
12. Уфимцева А.А. Лексическое значение. М., 1986.

В.В. Немцева

Коннотативно-прагматические свойства имен родства в современном русском языке

Класс имен родства, имеющий, подобно жестким десигнатам, материальный (физический) денотат, принадлежит, однако, к категории номинальных признаков слов с реляционной семантикой [Уфимцева, с. 117], уже подробно описанной методом семантических множителей Т.П. Ломтевым.

Можно было бы предположить, что круг этих имен экстралингвистически замкнут и их специфика полностью определяет функционирование.

Известно, однако, что именно номинации родства наглядно иллюстрируют одну из языковых антиномий в развитии русского языка – “борьбу” между текстом и кодом – в пользу текста. Небазовые, периферийные имена родства, употребительные “в условиях патриархального семейного уклада”, “за-

бываются" носителями языка, и вместо них употребляются описательные конструкции (*жена брата* вместо *невестка*, *брат мужа* вместо *деверь*), "выгодные для говорящего и слушающего", т.к. "не нужно хранить в памяти редко употребляющиеся слова" [Русский язык и советское общество, с. 26].

Важно и другое. Известно, что язык конкретного общества является составной частью его культуры, а лексические разграничения, проводимые каждым языком, обычно отражают важные, с точки зрения этой культуры, свойства объектов и установлений того общества, в которых функционирует язык. "Культура есть структурированная система моделированного поведения человека" [Ладо, с. 50] и может быть понята, в частности, как обычаи народа.

Для анализа было использовано около 80 словарных и текстовых имен родства; их количество во многом определяется суммой всех возможных модификатов (*мама – маманя – мамаша – маменька – мамка – мамочка – мамуля – мамуся – мамушка – мать – матка – матушка*).

Наблюдения над реальной жизнью в языке имен родства, а также их "заместителей" (субститутов), над их языковым и речевым поведением в соответствии со сложившимися стереотипами, связанными с определенными коннотациями, позволяет выделить в этом классе базовые единицы (*отец – мать, брат – сестра, муж – жена, сын – дочь, дед – бабука*), второстепенные (*племянник – племянница, тетка – дядька, кузен – кузина*) и "некровные" номинации (*тесть – свекор, теща – свекровь, падчерица – пасынок, отчим – мачеха, свояк, свояченица, деверь, шурин, золовка* и др.).

Родство "первого порядка" – кровные родственники первого, второго и третьего поколений, включая и "некровные", но важные отношения *муж – жена* – отличаются дифференциацией нейтральных (официальных) и разговорных номинаций (*отец – папа, мать – мама, брат – братик, сестра – сестренка, дед – дедушка, бабука – бабушка, муж – муженек, жена – женушка, сын – сынок, дочь – дочка*). Именно здесь обнаруживается наибольшее количество субъективно-оценочных, коннотированных номинаций, в которые заложены целые блоки эмотивных переживаний говорящего, часто смешанного типа, возможно совмещение положительных и отрицательных оценок – в зависимости от содержания высказывания и интонации (от ласки до шуток, иронии, сарказма).

Обычно в "связке" выступают синонимы (*бабуся – бабуля; папочка – папуля – папенька*); двуступенчатые словообразовательные модификаты, интенсифицирующие эмотивные признаки (*сестрица – сестричка; дочь – дочка – доченька; дочурка – дочурочка* и под.); реже – антонимы (*дедуля, дедуленька – дедка, дедуха – просторечное; бабуся, бабули – бабука – презрительно и бабушке; женушка – жененка – презрительно*).

Нейтральные лексемы *отец – мать* в современном русском языке фактически не имеют коннотированных производных. Слово *матушка* является фольклорным, устаревшим, но, по нашим наблюдениям за устной речью, употребляется теперь с интенцией неодобрения; слово *маменька*, первоначально ласкательно-поэтическое, употребляется в целях стилизации с оттен-

ком шутливости или иронии в речи интеллигенции: “А маменька моя нынче уехали!” (В. Розов).

Слова базовой группы (исходные и модификаты) развивают переносные значения, которые не всегда фиксируются словарями. В этих переосмыслениях, узуальных или окказиональных, “движение” происходит в двух направлениях: семы родственной близости, связи поколений порождают иные, уже социальные (реже абстрактные) номинации или/и семы возраста превращают “родственные сущности в статические, т.е. названия мужчины или женщины” (Ладо, с. 51).

Слово *жена* уже утратило значение “женщина”: “...тогда чрез пеструю дорогу перебежали две *жены*” (А. Пушкин). О связи “родственной и статической сущностей” говорит современное просторечное значение слова *баба* – “женщина”: “Ты *бабу* свою бьешь?” (В. Белов). Слово *муж* в торжественной речи имело значение “мужчина в зрелом возрасте”: “Я слышу речь не мальчика, но *мужа*” (А. Пушкин). И в этом случае наблюдается связь: просторечное *мужик* употребляется в значении “муж”: “Видела, какие у нас женихи ходят: молодые, красивые... – У меня *мужик* есть, – спокойно сказала бригадирша” (С. Антонов). Признаки *мужа* – *мужчины* присутствуют в значении “деятель на каком-нибудь общественном или научном поприще”: “У многих из них есть слабость воображать себя государственными *мужами*” (А. Чехов).

Лексемы *мамка*, *мамушка* обозначали кормилицу, няньку: “До пяти лет он был на руках кормилицы и *мамок*” (Н. Добролюбов); слово *мать* является названием монахини или жены духовного лица. Идея первичности/вторичности, порождения, преемственности присутствует в значении “начало, первооснова”: “Повторенье – *мать* ученья”, “Киев – *мать* городов русских”.

Словари не фиксируют значения “статической сущности” у слова *мать*, однако оно проявляется в обращении (см. ниже).

Слово *отец* семантически обнаруживает известный параллелизм со словом *мать*: имеет значение “основоположник, основатель”: “Геродот – *отец* истории” (В. Белинский), “источник, родитель”: “...латинский язык есть *отец* итальянского” (Н. Гоголь); служит названием монахов, служителей культа: “Старенький поп, *отец* Михаил, служил жалобным, надтреснутым голосом” (В. Гаршин).

Слово *брат* в составе сложного слова имеет значение маркированного полом компонента оппозиции *медсестра* – *медбрат*; по признаку близости по отчеству, национальности, службе, деятельности, профессии, образованию, мировоззрению обозначает конкретизированное другими лексемами лицо, а во множественном числе – группу лиц (*братья*-литераторы; *брат* по перу, по духу; *братья*-разбойники и под.); обозначает члена культового братства, монаха: “Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил” (А. Пушкин). Слово *сестра* проявляет полный параллелизм в своих значениях по отношению к слову *брат*.

Слова *сын* и *дочь* тоже обнаруживают параллелизм в своих переносных значениях, иногда выступая в текстах в паре: “ближайшие потомки, молодое

поколение”: “Сыновьям и дочерям не должно быть стыдно за нас, старших” (В. Розов); значение “лица мужского и женского пола по отношению к своим духовникам” (*сын мой, дочь моя* — к прихожанам) обычно используется не в номинации, а в обращении: “уроженец/уроженка какой-либо местности или представитель какой-либо национальности, носитель характерных, типичных черт среды, эпохи” (*сыны Кавказа; сыны и дочери Украины; сын своего времени*).

Слова *дед* и *бабка* и их производные в силу маркированности возрастом узואльно развивают свои значения не в сферу “социальных сущностей”, а в сферу “статических”, не теряя в основном своей связи с категорией возраста. Словари не всегда фиксируют эти значения. *Дедом* (*дедушкой*) называют пожилого или старого человека: “Да он уже *дед*, настоящий *дедушка*” (А. Алексин). В разговорно-просторечном назывании *дедами* солдат, кончающих службу в армии, возрастное значение переосмыслено применительно к ситуации. Официальная номинация *бабка* как бы стерлась в сознании носителей языка, и слова *бабушка, бабка* (грубоватое или шутливое) употребляется для обозначения пожилой или старой женщины: “Она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: — Да полно, *бабка*, оставь” (А. Куприн). Словом *бабка* в наше время называют и женщину вообще: “Она славная *бабка!*” (о молодой женщине; из устной речи).

Названные нами базовыми имена родства и их производные обладают большим потенциалом стереотипов (усредненных образов, представлений) для оценочной, **вторичной номинации**. Это явление не всегда непосредственно выражается в значениях (словари проявляют непоследовательность) — оно выявляется косвенным образом — в сравнениях: “Она мне как мать” (Б. Горбатов); в перифразах, в том числе и в приложениях: “*Сестра моя жизнь*” (Б. Пастернак); “Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, *отец* солдатам” (М. Лермонтов); обнаруживает себя в производных прилагательных и наречиях (*материнский/по-матерински; сыновий/ по-сыновьи; братский/по-братски* и т.д.); в содержательной стороне высказываний (текстов): “Быть может, то, что она знала о недавней маминой смерти, и повернуло ее к нам так *по-матерински*, так нежно?” (А. Цветаева); “Он *отечески, товарищески заботлив*” (А. Цветаева). Выявлению образных ассоциаций, связанных, в частности, с именами родства, изучению формирования стереотипов как отражения обыденного сознания в языковой картине мира именно на текстовом материале посвящена монография Н.И.Сукаленко [Сукаленко, с. 135–138].

Группа базовых имен родства интересна в отношении дифференциации функций именования и **обращения**. Ограничимся здесь самым показательным, по нашему мнению, материалом — в основном исходными словами в исходных значениях.

Нейтральные (и официальные) базовые лексемы родства в качестве обращения к родственникам используются либо торжественно, в ситуациях,

обозначенных серьезностью, значимостью, либо, наоборот, в шутку: “*Отец, отец, оставь угрозы, свою Тамару не брани...*” (М. Лермонтов); “*Сын, иди сюда, нам надо поговорить начистоту*” (А. Приставкин); “*Дочь, я же тебя растил...*” (В. Розов); “*Сестра, тебя не дозовешься...*” (Н. Лесков). Слово *мать* как обращение выступает в простой среде и отличается, наоборот, сниженностью: “*Мать, подавай на стол...*” (В. Белов). Вместо этих лексем в качестве обращений употребляются их коннотированные “дублиеры” или собственные имена.

Однако все базовые имена родства используются в качестве “неродственных” апеллятивов в определенном культурном слое сниженной русской речи, выявляя особенности **русского менталитета** – говорить с чужим как с родственником, ласково, интимно или фамильярно. Интимизация в таком русском обращении в целом соответствует философскому пониманию этого термина: получатель (адресат, другой) приобретает способность оценивать говорящего и его поведение, вступать с ним во внутренний диалог (Руднев, с. 118). При этом существует определенная социальная (и региональная) дифференциация говорящих в смысле использования лексем, а получатель обращения – в отношении реакции на его форму. Слова *мать* (*мамаши*) в обращении к немолодой женщине звучат тепло и необходимо: “И ты напрасно обижаешься, *мать*. – Это приветливое слово *гостя* сразу ободрило Анфусу Гавриловну” (Д. Мамин-Сибиряк). Слово *мать* как косвенную номинацию используют для обращения к *жене*: “Постой, *мать!* – Терентий вышел из-за верстака и сел рядом с *женой*” (Е. Мальцев). Так же звучат *отец*, *батька*, *батьа*, *батяня* в обращении более молодых по возрасту людей. Почти любовно звучат *сестренка*, *браток* в случае равновозрастных отношений. Пожилые и старые называют молодых *дочка* (не *дочь*), *сынок* (не *сын*). Независимо от собственного возраста пожилого и старого человека именуют *дед*, *дедок*, *дедуля*; *бабушка*, *бабуля*, *бабулька* – снисходительное – и на такое обращение возможны неоднозначные реакции. Место слова *брат* (*братец*) занято в обращении к чужому дружески фамильярными лексемами, уже отдалившимися от названий родства: “Ну врешь, *брат...* Уж я, *брат* вижу” (М. Горький). Слово *братцы* выступает как апеллятив к “своим”: “Стой, *братцы*, стой, – кричит Мартышка” (И. Крылов) или как междометный призыв о кооперативности и сочувствию: “Да что же это происходит, *братцы?*” (А. Чехов). Как междометие можно квалифицировать и употребление лексем в конструкциях типа “Ах, *батушки!* *Матушки!* *Отцы* мои родные!” (А. Островский).

Имена родства, периферийные по отношению к базовым, не столь богаты словообразовательными модификациями: *тетя* – *тетушка*, *дядя* – *дядюшка*, *племянник* – *племянничек* – *племянш* – *племяншка*. Лексемы *тетка*, *дядька* – официальные именованья родства и просторечные с иными значениями; слова *дяденька* – *тетенька* узуально в современном языке для обозначения родства используются редко. Выход в сферу социальных характеристик имело лишь слово *дядька*, обозначавшее слугу в дворянских семьях для надзора за мальчиками, а также служителя мужских закрытых учебных

заведений (Савельич был дядькой для Петруши Гринева). В сфере статических ("возрастных") характеристик выходят слова *дядя, тетя, дядька, тетка, дяденька, тетенька*, обозначающая **взрослых** в речи детей (с соответствующими коннотациями); за исключением двух последних, в просторечии они используются и для обозначения взрослых мужчин и женщин: "Куда тебя несет? – кричала жирная *тетка*" (Н. Островский); "Какой-то *дядька* остановился возле входа" (А. Гайдар). В узусе слова этой группы не обнаруживают способности к вторичной номинации, однако есть контексты, где слова *дядя* и *тетя* сохранили связь с признаками родственности, близости: "Голод – не *тетка*, пирожка не даст" (пословица); "А кто будет работу выполнять? *Дядя?*".

Лексемы "некровного" родства обладают особыми свойствами. Они имеют ограниченное количество субъективно-оценочных модификаций: *теща – тещенька, тесть – тестюшка, невестка – невестушка, золовка – золовушка*; не выходят за пределы тематической группы; не имеют переносных значений; ассоциативно-образные оценочные коннотации можно определить только исходя из контекстов, из их содержания, сравнений, противопоставлений, перифрастических выражений, фразеологии. Ограничимся здесь несколькими примерами, подтверждающими однозначное "прочтение" стереотипов: "Кто тебя не знает, подумает что ты не *мать*, а *мачеха*" (Л. Толстой); "*Свекор* – гроза, а *свекровь* выест глаза" (пословица); "Несладка доля *падчерицы*" (поговорка).

В заключение можно сказать, что семантическое поле имен родства представляет собой сложное явление, требующее дальнейшего изучения.

Литература

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1977.
2. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культуры // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. М., 1989.
3. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.
4. Русская грамматика. М., 1980. Т.1.
5. Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка. Социолого-лингвистические исследования / Под ред. М.В.Панова. М., 1968.
6. Словарь русского языка: В 4-х томах / Под ред. А.П.Евгеньевой. М., 1985.
7. Словарь русского языка: В 17-ти томах. М-Л., 1951-1965.
8. Сукаленко Н.И. Отражение быденного сознания в образной языковой картине мира. К., 1992.
9. Уфимцева А.А. Лексическое значение. М., 1986.

А. Ніколаєва

Лексико-семантичні особливості термінів програмування, баз даних, мереж та обробки інформації

Творення української наукової термінології – процес тривалий, суперечний і складний. З цього приводу цілком слушно зазначає Т. Панько: «Без термінології науки немає, а якщо так, то розбудова національної термінології є свідченням наукового потенціалу нації» [6:255]. Сьогодні актуальною

є проблема комп'ютерної україномовної термінології, ступінь її опрацювання, унормування, уніфікації та стандартизації.

Термінологія комп'ютерної техніки визначається як система термінів широкого кола дисциплін: прикладних систем зв'язку, програмування, даних та їх зберігання, баз даних, електроніки, обробки інформації, мереж, виводу даних, систем та середовищ, що співвідносяться з системою понять цих галузей знань. Процес унормування термінологічної лексики комп'ютерної техніки відбувається через контекст, який в результаті багатопланової роботи дає можливість звести всю термінологію в певну систему на принципах змістовного, логічного і лінгвістичного рівнів. І тільки внаслідок такого цілеспрямованого відбору кінцевим етапом роботи стане стандартизація термінів.

Матеріалом даного дослідження є терміни, що увійшли в «Комп'ютерний словник», виданий Microsoft Press у 1991 році та перекладений українською мовою 1997 року. Обсяг його складає понад 2000 термінів та термінологічних сполучень. Для уточнення значень окремих термінів використано російсько-україномовні матеріали, видані за останні п'ять років.

Термінолексика комп'ютерної техніки включає як мовні, так і несловесні структурномовні засоби вираження термінів, що існують у сучасному мовознавстві. **Невербальні засоби**, представлені знаками, цифрами, літерами різних алфавітів та графічними символами, набули значно меншого поширення, ніж мовні.

Окремі позначення настільки вузькоспеціальні, що літери (*H, Z, C, F, m, o, r*), а також небуквені символи (+, I, <, \$, +) стають зрозумілими тільки у вузькогалузевому тексті. В інших галузях знань деякі з цих символів мають зовсім інші значення.

Різного типу невербальні позначення є суттєвими поняттями, які економічні та зрозумілі у використанні, але їх різноманітність потребує окремого дослідження. До мовних засобів вираження термінів програмування відносяться **терміни-слова та терміни-словосполучення**.

Проаналізований словниковий матеріал «Комп'ютерного словника» дав можливість зробити висновок, що кількість однослівних термінів складає близько 32%.

Терміни-слова неоднорідні за будовою. До них належать **непохідні назви** (*паз, період, пакет*), **похідні терміни-derivati** (*повернення, перехідник, півслово, підкаталог*), **назви-композиції** (*перфокарта, пікосекунда, п-машина, потенціометр*) та **аббревіатури** (*КД-ПЗП, Сі-Ді-РОМ, Сі-Бі-Ті*).

Однослівні терміни здебільшого утворюються морфологічним способом у різних видозмінах: афіксальним (*асемблювати, біполярний, блокувати, вибірка тощо*) і осново- та словоскладанням (*гігабайт, відеодисплей, блок-схема, білісекунда, аудіовізуальний*).

Серед термінів програмування є однослівні, утворені лексико-семантичним (*ланцюг, тривога, том, тон*) і лексико-синтаксичним (*діод-теплоносії, диск-джерело, РЧ-екранування, спот-функція*) способами.

Особливістю терміноутворення у галузі комп'ютерних наук на сучасному етапі є активне використання синтаксичного способу словотвору, оскільки виникає постійна необхідність у конкретизації багатьох понять, що і призводить до зростання кількості термінів, утворених аналітичним способом. Проведений нами лінгвістичний аналіз лексичного матеріалу програмування дав можливість з'ясувати, що блок різноманітних описових форм репрезентації комп'ютерних понять, які, з огляду на чужомовність, ще не цілком адаптувалися в мові-реципієнті, становить близько 60%.

Багатокомпонентні терміни – це один з найпродуктивніших способів терміноутворення в англійській мові, що стала мовою-донором для формування національної комп'ютерної термінології.

У терміносистемі програмування, баз даних, мереж та обробки інформації зустрічаються терміни з числом компонентів від двох до шести. Наприклад: *обчислювальний центр із самообслуговуванням, пряме зчитування в момент запису, пам'ять з одностороннім розташуванням висновків*.

Описовість денотата, як необхідне явище української комп'ютерної термінології періоду становлення, дозволяє простежити окремі тенденції утворення певних моделей.

Серед 2-компонентних терміносполук переважну більшість складає тип **«іменник+іменник»** (*плече доступу, коефіцієнт активності, мова Ада*). Нерідко зустрічається конструкція **«дієприкметник+іменник»**: *адресований курсор, приєднаний процесор, вбудоване сортування*). Інколи іменником виступає власна назва: *вдосконалений Бейсик, вбудований Бейсик*. Трапляються випадки, що одним з компонентів двоскладної сполуки є числівник, який записується цифрами: *Альтаір 8800*. Проте кількісно найбільшою є, безперечно, модель **«прикметник+іменник»** (*абсолютна адреса, видова пропорція, аналоговий дисплей*). Її частина складає близько 60% серед 2-компонентних словосполучень.

Серед трислівних терміносполук найпопулярнішою виявилася конструкція **«іменник+прикметник+іменник»**. Наприклад: *створювач прикладної програми, бокс заблокованих повідомлень, буфер сторінкового абзацу*). Дещо меншими за кількістю, але приблизно однаковими між собою виявилися моделі **«прикметник+іменник+іменник»** (*абстрактний тип даних, альтернативна клавіша перемикання, генератор аналогових сигналів*) та **«прикметник+прикметник+іменник»** (*символьний дисплейний термінал, прикладне програмне забезпечення, прикладна інтегрована схема*). Насиченість прикметниками термінів комп'ютерної техніки пояснюється прагненням якісного опису тих чи інших явищ, відповідного термінологічного забезпечення, певного деталювання. Важливо при цьому розрізняти термінологічне та нетермінологічне вживання прикметника, коли часто немає необхідності при перекладі наслідувати англословний варіант. Українська мова має власну норму та допустимі параметри, тому шлях прямого калькування часто виявляється помилковим. Словосполук, що мають модель **«іменник+іменник+іменник»** досить багато у «Комп'ютерному словнику» (*мова*

розроблення програм, адміністратор бази даних, блок керування файлом). Нерідко зустрічаються конструкції з прийменником між іменниками (машина для розрахунків, байти на дюйм, біти за секунду).

Найменш уживаною виявилася модель «прислівник + дісприкметник + іменник» (безпосередньо підімкнутий модем, бітово відображений модем). Їх кількість не перевищує 8%.

Спостереження над кількісним складом аналізованих терміносполук дозволяє дійти висновку, що безперечно зручність використання описових моделей, їхня точність, сміливість на певному етапі поступаються явно негативній тенденції: зайвий довжині. Тому із зростанням компонентності складних термінів зменшується їх частотність, а терміни з 4-5 та більше складових елементів набувають характеру контекстуальності. Багатокомпонентні терміни можуть замінити цілу фразу, тобто вони спрощують морфолого-синтаксичну структуру тексту і мають велику семантичну та інформативну місткість (адаптивна диференційна імпульсивно-кодова модуляція, акт з питань комунікації, МОН-транзистор з польовим ефектом, пам'ять з однобічним розташуванням висновків, першим увійшов – першим обслуговувався, пряме зчитування в момент запису, порозрядне доповнення до одиниці, розширений двійково-десятковий код для обміну інформацією). Процес витіснення багатокомпонентного терміна більш лаконічним є закономірним. Саме цим ми пояснюємо той факт, що багатокомпонентні моделі термінів кількісно обмежені. Відношення між складовими елементами терміносполучень можуть будуватися за принципом ланцюжкового підпорядкування (мова визначення даних, міра швидкості принтера, ознака початку файла, обмеження швидкості обчислень), паралельного підпорядкування (коливання перехідні по вертикалі) або комбінуванням цих двох типів відносин (розширений двійково-десятковий код для обміну інформацією).

Саме цим ми пояснюємо той факт, що 4-компонентні моделі термінів кількісно досить обмежені. У системі програмування, прикладних систем, баз даних, обробки інформації, систем та середовищ за семантичною ознакою можемо виділити:

а) **вільні словосполучення**, де кожен із компонентів – термін, і кожен може вступати у двосторонній зв'язок: оптимізуючий компілятор, символічний код, система частот-носіїв, оптичний сканер, растровий дисплей, процесор клавіатури, програмний файл, принтер з світлодіодом, плазмовий індикатор, файл транзакцій;

б) **сталі словосполучення**, компоненти яких можуть виступати загальноуживаними словами, а в словосполученні вони виступають як терміни: постійна відмова, протокол зв'язку, пошук документа, приховування інформації, процедура оболонки, тупикова ситуація, час передачі, якість обслуговування тощо;

в) **терміни-фразеологізми**: Троянський кінь, смертельні обійми, чорний ящик, Юліанська дата, скринька Бернуллі, «дикий» символ, Польська форма, «кулінарна книга».

Досліджуваний нами матеріал дає право говорити, що більшість термінів-словосполучень не має ідіоматичного характеру, їх семантика являє собою суму значень складових компонентів.

Проведені спостереження дозволяють зробити висновок, що найбільш активним способом поповнення терміносистеми комп'ютерної техніки є творення різного роду словосполучень. Активність такого способу збагачення словникового складу можна пояснити тим, що, по-перше, термін-словосполучення несе в собі номінативне завдання та має широку можливість комбінування при творенні термінологічних словосполучень з двох, трьох чи більше слів, що сприяє швидкому утворенню нових термінів словосполучень, а по-друге, виражаючи складні поняття, він репрезентує семантично стійкі розчленовані словосполучення.

Одним із способів творення термінології є іншомовні запозичення, що служать для номінації нових понять та об'єктів. Форми запозичення, як правило, є такими: 1) транскрипція, транслітерація; 2) калькування; 3) знаходження українського відповідника.

У термінологічній системі програмування лексичним ядром є повнозначні слова – загальні назви. Власні ж імена виступають складовою частиною термінів-епонімів: *розподіл Бернуллі, система сполучень Пантона, форма Бекуса-Наура, клавіатура Мелтрона, набір Манделброта, числа Фібоначі, швидке перетворення Фур'є* тощо. Ці та інші подібні терміни утворені за прізвищами дослідників, авторів найвидатніших відкриттів і теорій. Інколи до складу термінів входять географічні назви (*код Манчестера*) або навіть назви університетів: *Гарвард Марк І*.

Точність інформації вимагає однозначності терміна. Але на практиці переважає явище **полісемії**. Наприклад, слово *шина* у загальнолітературній мові має два значення, а «Комп'ютерний словник» подає 11 значень цього терміна: 1) *шина*; 2) *шина вводу/виводу*; 3) *шина настільного комп'ютера Apple*; 4) *шина розширення*; 5) *шина термінала*; 6) *шина AT*; 7) *шина IEEE-488*; 8) *шина IEEE-696/S-100*; 9) *шина NuBus*; 10) *шина PS/2*; 11) *шина S-100*.

Надзвичайно важливою проблемою унормування термінологіки комп'ютерної техніки є наявність **термінів-синонімів**.

До терміна як особливого виду мовного знака ставляться певні вимоги: однозначність (одному поняттю має відповідати один термін), відсутність експресії, модальності, естетичних характеристик. У зв'язку з цим синонімії у термінології, здавалося б, не може бути. Проте дослідження термінологіки програмування свідчить, що вона все ж таки існує: *шинний дизайн – індустріальна стандартна архітектура, установка – настроювання сторінки, термографічний принтер – тепловий принтер, Силікон веллі – Силікована долина*.

Висока частотність вживання іншомовних термінів пояснюється тим, що більшість з них є міжнародними та входять у терміносистему програмування та обробки інформації разом з поняттями. Терміни-дублети, утворені на власній мовній основі, повинні відновлюватися та входити до складу

лексико-семантичного словника сучасної терміносистеми. Тенденція до відродження української терміносистеми зумовила активізацію використання національних дублетів: мангіса – *дрібна частина*, локальна мітка – *заголовок*, контроль коректності – *контроль змістовності*, «катена» – *ланцюжок*.

Вважаємо за доцільне збереження національно-міжнародних дублетів з метою забезпечення спадкоємності національної термінології та надання терміносистемі комп'ютерної техніки інформаційної ідентичності з іншомовними терміносистемами. При наявності національно-іншомовної пари синонімів перевага запозиченню може надаватися лише за умови його міжнародної стандартизації.

Синонімія термінів у текстах іноді заважає однозначності сприймання, проте варто відзначити її позитивний вплив. Він виявляється в уточнювальному характері термінів-синонімів, а також урізноманітнює процес сприйняття наукового тексту. Тому вважаємо, що синонімія відіграє у мові науки не лише деструктивну, а й конструктивну роль.

Процес уніфікації термінологічної системи комп'ютерної техніки надзвичайно складний і тривалий. Відібрати найбільш точний термін, який відповідає тому чи іншому поняттю, не так просто, а плутуче вилучення одного з синонімічних термінів спричинить порушення закономірностей розвитку мови.

Для термінології програмування, баз даних, мереж та обробки інформації характерне також явище антонімії.

Антонімія термінів можлива лише за наявності терміносистеми, тобто коли існують взаємопротиставлені пари термінопонять. Крім того, смислові структури протиставлених термінів повинні бути однотипними. Антонімія термінів програмування має різні способи вираження. Найчастіше в антонімічні відношення вступають терміни-словосполучення, наприклад: *програмування «знизу вгору»* – *програмування «зверху вниз»*, *сміття на вході* – *сміття на виході*.

Дослідження термінологіки комп'ютерної техніки як з погляду лексико-семантичних та граматичних процесів, так і дослідження джерел її формування є надзвичайно актуальним, адже воно тісно пов'язане з прискоренням науково-технічного прогресу взагалі.

Література

1. Бурячок А.А. Спільні новотворені процеси в іменниковій термінології східнослов'янських мов // Науково-технічний прогрес і мова. К., 1978. С. 161–194.
2. Даниченко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. М., 1977.
3. Калашиник В.С., Покровська О.А. Складений термін у фразеологічному аспекті // Всеукраїнська наукова конференція «Українська термінологія і сучасність». Тези доповідей. Київ, 1996. С. 97.
4. Калашиник В.С., Філон М.І. Термінологізація загальноживаного слова (семантико-лексикографічний аспект) // 3-я Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології». Тези доповідей. Львів, 1994. С. 88–89.
5. Комп'ютерний словник. К., 1997.
6. Нікіміна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології. К., 1978.
7. Панько Т.І. Функціонально-ономасіологічний підхід до вивчення й стандартизації термінологічних систем української мови // 2-га Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української науково-технічної термінології». Тези доповідей. Львів, 1993. С. 255–257. 8. *Панько Т.І., Коган І.М., Мацюк Г.П.* Українське термінознавство. Львів, 1994. 9. *Полюга Л.* Термінологічне значення в семантичній системі слова // 2-га Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології». Тези доповідей. Львів, 1993. С. 79–81. 10. *Реформатский А.А.* Введение в языкознание. М., 1967. 11. *Русанівський В.М.* Структура лексичної і граматичної семантики. К., 1998. 12. *Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В.* Общая терминология: Вопросы теории. М., 1989.

М.О. Панкова

Метафора как главный фактор антропометрической картины мира

В последнее время возрос интерес к проблемам бессознательного и его взаимодействию с мышлением и языком. Являясь универсалией человеческой психики, коллективное бессознательное служит, по мнению исследователей, предпосылкой возникновения мод, обычаев, различных течений в искусстве и одновременно является вневременным объединяющим фактором, поддерживающим специфически человеческий способ мышления и образа жизни [подробнее см. 6].

Бессознательное проявляется в разной степени на различных уровнях языка и мышления и «... выступает как непрерывно возобновляющаяся устойчивая «иной» логики, — логики исключительно мощной, но никогда не становящейся логикой единственной». [2:261] На несхожесть структур мышления и бессознательного указывают все исследователи, начиная с Фрейда и Юнга. Непереводаемость, принципиальная неистолковываемость бессознательного вытекает из того, что содержания бессознательного по своей образной природе принципиально непередаваемы на язык понятийной логики. Об этом свидетельствуют, в частности, попытки истолкования (или даже просто описания) сновидений — непосредственных проявлений бессознательного: всякий раз чувствуется нехватка слов для выражения целостности и многообразия ассоциаций, чувств и мыслей, связанных с каждым образом. Еще одной причиной «взаимонепонимания» между структурами мышления (и языка) и коллективного бессознательного является принципиально разный подход к восприятию окружающего мира: мышление тяготеет к определенности и двойственности, тогда как бессознательное по своей сути достаточно размыто и, вследствие этого, цельно — противоречия как бы стираются благодаря огромному количеству ассоциаций, пронизывающих все его области. Язык занимает промежуточную позицию: в нем есть как определенность, так и диффузность (напр., экспрессивная лексика).

Посредником между этими структурами сознания и бессознательного Юнг считает архетипы, которые связывают современное мышление с архаическим и остаются практически идентичными как по оси диахронии, так и на уровне синхронии. Архетипические содержания, вне зависимости от сте-